

## Росгальда

Роман Германа Гессе

*Авторизованный перевод А. Полоцкой*

Hermann Hesse. „Rosshalde“. Velhagen u. Klasings Monatshefte, 1913 VII--VIII. (*На основе статей 4--6 русско-германской литературной конвенции*)

### I.

Когда, десять лет тому назад, Иоганн Верагут купил Росгальду и поселился в ней, она была заброшенной старой усадьбой, с заросшими садовыми дорожками, ветхими ступеньками и непроходимым, заглохшим парком. На всем участке в восемь моргов не было никаких строений, кроме прекрасного, несколько запущенного барского дома с конюшней и маленьким, похожим на храм, бельведером, дверь которого криво висела на погнувшихся крюках, а когда-то обитые шелком стены обросли мохом и плесенью.

Сейчас же после покупки усадьбы новый владелец приказал снести ветхий павильон, оставив только десять старых каменных ступеней, которые вели от порога этого любовного уголка к краю пруда. На месте бельведера была выстроена мастерская Верагута, и в течение семи лет он здесь писал и проводил большую часть дней, жил же напротив, в господском доме. Так продолжалось до тех пор, пока усилившийся семейный разлад не заставил его удалить старшего сына и послать его учиться, господский дом предоставить жене и слугам, а для себя пристроить к мастерской две комнаты, в которых он с этих пор и жил на положении холостяка. Обидно было за великолепный барский дом; фрау Верагут занимала с семилетним Пьером только верхний этаж, к ней приезжали иногда знакомые с визитом или погостить, но никогда не собиралось большого общества, и таким образом ряд комнат из года в год стоял пустой.

Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном между отцом и матерью, поддерживавшим нечто вроде общения между господским домом и мастерской; он был, в сущности, единственным хозяином и владельцем Росгальды. Верагут жил исключительно в своем домике при мастерской, а для прогулок пользовался местностью вокруг озера, да еще бывшим парком; его жена царила напротив, в доме, ей принадлежала дерновая лужайка, липовый и каштановый сады; и каждый бывал на территории другого только в качестве гостя, если не считать обеда и ужина, на которых художник большею частью присутствовал в господском доме. Маленький Пьер был единственным, не признававшим этого разобщения жизни и разделения территорий и едва ли знавшим о нем. Он одинаково беззаботно бегал как по старому, так и по новому дому, чувствовал себя в мастерской и библиотеке отца точно так же дома, как в коридоре и картинном зале напротив, или же в комнатах матери, ему принадлежала земляника в каштановом саду, цветы в липовом, рыба в озере, купальня, гондола. Он чувствовал себя господином и любимцем как служанок матери, так и камердинера отца Роберта, он был сыном хозяйки дома для гостей матери и сыном художника для посетителей, приходивших иногда в мастерскую отца и говоривших по-французски, а изображения мальчика, портреты и фотографии, висели как в спальне отца, так и в старом доме, в уютных, оклеенных светлыми обоями комнатах матери. Пьеру жилось очень хорошо, даже лучше, чем детям, родители которых живут в полном согласии: он воспитывался без всякой программы, и если когда-нибудь на территории матери атмосфера

становилась слишком напряженная, то местность вокруг озера представляла ему надежное убежище.

Было далеко за полночь, и маленький Пьер спал уже давно в своей постельке, а в окнах господского дома было совершенно темно, когда Иоганн Верагут пешком, совершенно один, вернулся из города, где провел вечер со знакомыми в ресторане. Во время ходьбы под облачным небом теплой весенней ночи атмосфера вина и дыма, возбужденного смеха и рискованных шуток отпала от него, он с наслаждением вдыхал живительный сыровато-теплый ночной воздух и шел между уже высоко поднявшимися темными полями, внимательно вглядываясь в дорогу, в конце которой на бледном ночном небе тихо выделялись высокие верхушки Росгальды.

Он, не заходя, прошел мимо входа в усадьбу, бросил взгляд на господский дом, благородный, светлый фасад которого маняще мерцал среди густого мрака деревьев, и с минуту созерцал красивую картину с наслаждением и равнодушием случайного прохожего. Затем сделал еще несколько сот шагов вдоль высокого забора до места, где было проделано отверстие и протоптана потайная дорожка к мастерской. Напряженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту, шел он по мрачному, запущенному, как лес, парку; над озером деревья вдруг расступались, и далеко вокруг видно было тусклое, серое небо. Здесь и стояла мастерская со своими пристройками.

Маленькое озеро казалось почти черным в своем застывшем покое, лишь слабый отсвет неба лежал над водой, точно бесконечно нежная пленка или тонкая пыль. Верагут посмотрел на часы, -- было около часа. Он открыл боковую дверь маленького строения, ведущую в его жилые комнаты. Здесь он зажег свечу и, быстро сбросив одежду, вышел нагим на воздух и медленно спустился по широким, плоским каменным ступеням к воде, по которой, на мгновение сверкнув, побежали маленькие, мягкие кольца. Он окунулся и поплыл вглубь озера, но, вдруг почувствовав усталость после необычно проведенного вечера, повернул обратно и мокрый вошел в дом. Здесь он набросил мохнатый купальный плащ, вытер голову с коротко стриженными волосами и босиком поднялся по нескольким ступеням в мастерскую, огромную, почти пустую комнату, где сейчас же нетерпеливым движением зажег электричество, повернув выключатели всех ламп.

Торопливо подошел он к мольберту, на котором стояло маленькое полотно, -- его работа последних дней. Упершись руками в колени, стоял он, согнувшись, перед картиной, вперив широко раскрытые глаза в поверхность, свежие краски которой отражали яркий свет. Так простоял он две-три минуты, молча и не отрывая глаз от картины, пока работа не ожила перед его глазами до последнего мазка: с давних пор у него вошло в обыкновение накануне рабочих дней уносить с собой в постель исключительно впечатление от картины, которую он писал. Затем он погасил электричество, взял свечу и пошел в спальню, на двери которой висела небольшая аспидная доска с куском мела. "Разбудить в семь часов, кофе в девять", крупными буквами написал он на ней, запер за собой дверь и лег. Он еще немного полежал неподвижно с открытыми глазами, с усилием вызывая перед собой образ своей работы. Насытившись им, он закрыл ясные серые глаза, тихо вздохнул и быстро погрузился в сон.

Утром Роберт разбудил его в назначенное время. Он сейчас же встал, умылся в маленькой уборной холодной водой, надел грубый застиранный костюм из серого полотна и прошел в мастерскую, где слуга уже поднял тяжелые шторы. На маленьком столике стояла тарелка с фруктами, графин с водой и лежал ломоть ржаного хлеба. Он задумчиво взял его в руки и, откусив кусочек, подошел к мольберту и углубился в созерцание картины. Затем он несколько раз прошелся по комнате, сел на ходу еще несколько кусочков хлеба, выловил из тарелки с

фруктами несколько вишен, издали мельком взглянул на письма и газеты, лежавшие тут же... Через минуту он уже сидел на складном стуле перед работой, весь поглощенный ею.

Маленькая картина широкого формата изображала раннее утро. Это был пейзаж, виденный художником несколько недель тому назад, во время одной из поездок, и так поразивший его, что он тогда же сделал несколько набросков. Он остановился в маленькой деревенской гостинице на Верхнем Рейне, не застал коллегу, которого хотел навестить здесь, дома, и провел невеселый вечер в дымном общем зале и скверную ночь в маленьком сыром номере, в котором пахло известью и плесенью. Очнувшись еще до восхода солнца от беспокойной дремоты, весь в поту и в самом дурном расположении духа, он выбрался из комнаты и, найдя дверь дома еще запертой, вылез в окно общего зала. У самой гостиницы, на берегу Рейна, была привязана лодка; он отвязал ее и выплыл в слабо струившуюся, еще сумеречную реку. Как раз в тот момент, когда он хотел повернуть, от противоположного берега отчалила другая лодка, по-видимому, рыбацья. В холодном, слабо вздрагивающем, молочно-белом свете занимающегося дождливого утра темный силуэт ее казался чрезмерно большим. Внезапно пораженный и захваченный этим зрелищем и необыкновенным освещением, он перестал грести и стал ждать рыбака, который остановился у поплавок и вытащил из воды вершу. Из нее показались две широкие тускло-серебристые рыбы, сверкнули на момент мокрым блеском над серым потоком и со стуком упали в лодку рыбака. Верагута сейчас же велел человеку подождать, принес необходимейшие принадлежности и сделал эскиз акварелью. Он остался в местечке еще на целый день, который провел за работой и чтением, и уехал только на следующий, прорисовав все утро на берегу реки. С тех пор эта картина не переставала занимать его мысли и мучить его, пока не вылилась в определенную форму, и вот уже три дня он сидел за ней и уже кончал ее.

Охотнее всего он всегда работал при ярком солнечном освещении или же в теплом преломленном свете леса или парка; поэтому струящаяся серебристая свежесть картины далась ему нелегко, но зато она была новым импульсом для него. Вчера ему удалось разрешить задачу вполне, и теперь он чувствовал, что сидит перед хорошей, необыкновенной работой, что здесь не просто удержан и добросовестно изображен интересный момент, -- нет, здесь природа на мгновение сбросила ледяную кору равнодушия и загадочности и позволила услышать свое буйное, громкое дыхание.

Внимательными глазами художник всматривался в картину и пробовал краски на палитре, которая была совсем непохожа на его обычную и утратила почти все красные и желтые цвета. Вода и воздух были готовы, по поверхности струился холодный, неприветливый свет, прибрежные кусты и столбы призрачно расплывались в сыром, бледном сумраке, грубая лодка в воде казалась чем-то недействительным и точно каждую минуту готова была растаять, в лице рыбака тоже не было ничего характерного, живого, и только его спокойно протянутая к рыбам рука была полна неумолимой реальности. Одна из рыб, сверкая, падала в лодку, другая тихо лежала плашмя, и ее открытая круглая пасть и неподвижный испуганный глаз были полны немого животного страдания. Все в целом было холодно и печально почти до жестокости, но тихо и неприступно, без всяких притязаний на какой-нибудь символизм, кроме того простого, без которого не может существовать ни одно произведение искусства и который заставляет нас не только чувствовать гнетущую непостижимость природы, но и с сладостным изумлением любить ее.

Часа через два после начала работы в дверь постучал камердинер и в ответ на рассеянное: "Войдите", внес завтрак. Он тихо расставил посуду, придвинул стул, молча дождался немного, затем осторожно напомнил:

-- Кофе налит.

-- Иду, -- крикнул художник, стирая большим пальцем мазок, только что сделанный на хвосте прыгающей рыбы.-- Горячая вода есть?

Он вымыл руки и сел за стол.

-- Набейте-ка мне трубку, Роберт, -- весело сказал он. -- Ту, маленькую, без крышки, она должна быть в спальне.

Камердинер побежал исполнять приказание. Верагут с наслаждением пил крепкий кофе и чувствовал, как исчезают, точно утренний туман, легкое головокружение и слабость, которые в последнее время стали иногда появляться у него после напряженной работы.

Он взял у камердинера трубку, велел подать себе огня и жадно вдохнул ароматный дым, усиливший и как бы облагородивший действие кофе. Он указал на свою картину и сказал:

-- Вы в детстве, наверно, удили рыбу, Роберт?

-- Как же, удил.

-- Посмотрите-ка вон на ту рыбу, не на ту, что в воздухе, а на эту, внизу, с открытой пастью. Что, пасть нарисована верно?

-- Верно-то верно, -- недоверчиво сказал Роберт. -- Да вы знаете лучше меня, -- прибавил он тоном упрёка, как будто почувствовав в вопросе насмешку.

-- Нет, любезный, это не совсем так. Человек воспринимает все то, что его окружает, по-настоящему свежо и остро только в первой юности, так -- лет до тринадцати-четырнадцати, и этим питается всю свою жизнь. Я мальчиком никогда не имел дела с рыбами, потому я и спрашиваю. Ну, а хвост хорош?

-- Да уж хорош, все как следует быть, -- отозвался польщенный Роберт.

Верагут уже опять встал и пробовал свою палитру. Роберт посмотрел на него. Он знал эту начинающуюся сосредоточенность взгляда, от которой глаза казались почти стеклянными, и знал, что теперь он и кофе, их маленький разговор и все остальное исчезло для этого человека, и если через несколько минут его окликнут, то он точно очнется от глубокого сна. Но это было опасно. Роберт убрал посуду и вдруг заметил, что почта лежит нетронутая.

-- Барин, -- вполголоса окликнул он.

Художник был еще достижим. Он оглянулся через плечо, вопросительно и враждебно, как оглянулся бы уже готовый задремать утомленный человек, которого еще раз окликнули.

-- Здесь есть письма.

И Роберт вышел из комнаты. Верагут нервно положил на палитру кучку кобальтовой сини, бросил тубик на маленький, обитый жестью стол и принялся мешать; но напоминание камердинера не давало ему покоя. Он с досадой отложил палитру и взялся за письма.

Это была его обычная корреспонденция: приглашение участвовать в выставке, просьба редакции газеты сообщить важнейшие даты из своей жизни, счет... Но вдруг вид хорошо знакомого почерка наполнил его душу сладким трепетом. Он взял письмо в руки и с наслаждением прочел свое имя и весь адрес, слово за словом, радостно созерцая характерные буквы с свободным, своевольным росчерком. Затем он долго усиливался разобрать почтовый штамп. Марка была итальянская, письмо должно было быть из Генуи или Неаполя; значит, друг уже в Европе и через несколько дней может быть здесь.

Он с умилением распечатал письмо и с удовлетворением посмотрел на маленькие, прямые, совершенно ровные строчки. Сколько он мог вспомнить, эти редкие письма заграничного друга были в последние пять-шесть лет единственными чистыми радостями, которые выпадали на его долю, единственными, за исключением работы и часов общения с маленьким Пьером. И,

как каждый раз, им и теперь среди радостного ожидания овладело неясное, мучительное чувство стыда при мысли о том, как бедна его жизнь, и как мало в ней любви. Он стал медленно читать:

*Неаполь, 2 июня, ночью.*

Милый Иоганн!

"Как всегда, глоток кьянти с жирными макаронами и выкрики разносчиков перед кабачком -- первые признаки европейской культуры, к которой я снова приближаюсь. Здесь, в Неаполе, за пять лет не изменилось ничего, гораздо меньше, чем в Сингапуре или Шанхае, и я смотрю на это, как на доброе предзнаменование, что и дома я найду все в порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня будет встречать племянник, и я поеду с ним к родственникам, где на этот раз меня не ждут бьющие через край симпатии, так как за последние четыре года я, если считать честно, не заработал и десяти талеров. Я считаю на удовлетворение первых притязаний семьи четыре-пять дней, затем дела в Голландии возьмут, скажем, пять-шесть дней, так что я смогу быть у тебя приблизительно числа 16-го. Буду тебе телеграфировать. Я собираюсь пробыть у тебя и не давать тебе работать не меньше полуторы или двух недель. Ты стал страшно знаменит, и если то, что лет двадцать тому назад ты говорил об успехе и знаменитостях, было верно хоть наполовину, ты должен был за это время порядочно поглупеть и превратиться в мумию. Я собираюсь купить у тебя несколько картин, и мои жалобы на плохие дела есть не что иное, как попытка произвести давление на твои цены.

А я старею, Иоганн! Это было мое двенадцатое плавание по Красному морю, и в первый раз я страдал от жары. Было 46 градусов.

Боже мой, дружище, еще две недели! Это будет тебе стоить нескольких дюжин бутылок мозельского. Ведь с последнего раза прошло больше четырех лет.

Письмо может застать меня между 9 и 14 в Антверпене, в Европейской гостинице. Если ты выставил картины где-нибудь, где я буду проезжать, дай мне знать!

*Твой Отто".*

Верагут радостно прочел еще раз короткое письмо с здоровыми, крупными буквами и энергичными знаками препинания, отыскал в ящике маленького письменного стола, в углу, календарь и, просмотрев его, довольно кивнул головой. До середины месяца в Брюсселе будет еще выставлено больше двадцати его картин, это счастливое стечение обстоятельств. Таким образом, друг, зоркого взгляда которого он немного побаивался и для которого разлука его жизни, в последние годы не могла остаться тайной, получит, по крайней мере, первое впечатление от него такое, которым он может гордиться. Это облегчило все. Он представил себе немного тяжеловесную элегантную фигуру Отто, представил себе, как он ходит по брюссельскому залу и смотрит его картины, его лучшие картины, и на момент искренно порадовался, что послал их на эту выставку, хотя лишь немногие из них не были еще проданы. Он сейчас же написал письмецо в Антверпен.

"Он помнит еще все, -- благодарно думал он, -- это правда, мы в последний раз пили почти только мозельвейн, а раз вечером мы даже устроили настоящий кутеж".

Он немного подумал и, придя к заключению, что в погребе, в который он сам заглядывал очень редко, мозельвейна наверно больше нет, решил сегодня же выписать запас его.

Его опять потянуло к работе, но на этот раз он был слишком рассеян и внутренне неспокоен, чтобы достигнуть той полной сосредоточенности, при которой хорошие идеи являются сами собою. Он поставил кисти в стакан, положил письмо друга в карман и нерешительными шагами пошел к выходу. Навстречу ему, играя в лучах солнца, блеснуло озеро, был безоблачный летний день, и в залитом солнцем парке перекликались птичьи голоса.

Он посмотрел на часы. Утренние уроки Пьера уже должны были кончиться. И он стал бесцельно слоняться по парку, рассеянно смотрел вдоль коричневых, покрытых солнечными пятнами дорожек, прислушивался к тому, что делается в господском доме, проходил мимо площадки для игр Пьера, с качелями и кучей песку. В конце концов, он очутился поблизости от кухонного сада и с мимолетным интересом посмотрел на высокие кроны диких каштанов, среди темной Листвы которых, точно свечи, стояли последние радостные, светлые цветы. Пчелы с тихим жужжанием вились над полураскрывшимися розовыми почками садовой изгороди, сквозь темную листву деревьев доносились звонкие удары маленьких башенных часов в господском доме. Они пробили не вовремя, и Верагут снова подумал о Пьере, высшим желанием и честолюбием которого было когда-нибудь, когда он вырастет, привести старый механизм опять в порядок.

В этот момент он услышал по ту сторону забора голоса и шаги, звучавшие в солнечном воздухе сада, пронизанном жужжанием пчел и пением птиц, пропитанном лениво стелющимся ароматом гвоздик и душистого горошка, заглушено и нежно. Это была его жена с Пьером. Он остановился и стал внимательно прислушиваться.

-- Они еще не созрели, ты должен подождать еще несколько дней.

В ответ ребенок что-то весело прошептал, и на короткий, сладостный миг мирный зеленый сад и нежный, неясный детский щебет напомнили художнику о далеком саде собственного детства. Он подошел к забору и заглянул сквозь выющую зелень в сад, где на залитой солнцем дорожке стояла в утреннем платье его жена с садовыми ножницами в одной руке и легкой коричневой корзинкой в другой. Она была в каких-нибудь двадцати шагах от него.

С минуту художник рассматривал ее. Высокая фигура с серьезным и разочарованным лицом склонилась над цветами, лицо было затенено полями большой мягкой шляпы.

-- Как называются эти цветы?-- спросил Пьер.

В его каштановых волосах играл свет, голые худые и загорелые ноги казались на солнце совсем темными, а когда он наклонялся, в широком вырезе его блузы под коричневой от загара шеей просвечивала белая кожа спины.

-- Гвоздики,-- сказала мать.

-- Да, это я знаю,-- продолжал Пьер,-- но я хочу знать, как называют их пчелы. Ведь на пчелином языке у них тоже должно быть какое-нибудь имя.

-- Конечно, но его нельзя знать, его могут знать только сами пчелы. Может быть, они называют их медовыми цветами.

Пьер подумал.

-- Нет, -- наконец, решил он.-- В клевере они находят ровно столько же меда и в настурциях тоже, а не могут же они называть все цветы одинаково.

И мальчик принялся внимательно следить за пчелой, которая покружила над чашечкой гвоздики, на мгновение, трепеща крыльями, замерла перед ней в воздухе и затем жадно прикинула к розовому отверстию.

"Медовые цветы!" -- молча и презрительно думал он.

Он давно уже убедился, что как раз самых лучших и интересных вещей никто не знает и не может объяснить.

Верагут стоял за забором и слушал; он смотрел на спокойное, серьезное лицо жены и на прелестное, нежное, преждевременно созревшее личико своего любимца, и сердце его сжималось при мысли о том времени, когда его первый сын был еще таким же ребенком. Его он потерял и мать тоже. Но этого малютку он не хочет потерять ни за что на свете. Он будет подслушивать, как вор, за забором, будет его приманивать, будет стараться привлечь его на свою сторону, а если и этот мальчик отвернется от него, тогда ему незачем больше жить.

Тихо ступая по траве, он отошел от забора и зашагал между деревьями.

"Безделье -- не для меня", с досадой думал он, стараясь вернуть себе обычную твердость.

Он вернулся к своей работе и, преодолев неохоту и повинуюсь выработанной годами привычке, мало-помалу снова вошел в то напряженное рабочее настроение, которое не допускает никаких уклонений в сторону и направляет все силы на одну цель.

В полдень он тщательно переоделся, чтобы идти в господский дом, где его ждали к обеду. Выбритый и гладко причесанный, в синем летнем костюме, он казался если и не моложе, то, во всяком случае, свежее и гибче, чем в заношенном рабочем платье. Он взял свою соломенную шляпу и только что хотел открыть дверь, как она открылась навстречу ему, и вошел Пьер.

Верагут нагнулся к мальчику и поцеловал его в лоб.

-- Ну, что слышно, Пьер? Как твои уроки?

-- Да ничего, только учитель такой скучный. Когда он рассказывает сказку, у него тоже выходит как будто урок, а кончается непременно тем, что хорошие дети должны вести себя так и так. А ты рисовал, папа?

-- Да, знаешь, все эти рыбы. Я уже почти кончил, завтра покажу тебе.

Он взял мальчика за руку и вышел с ним вместе. Ничто в мире не Вызывало в нем такого сладостного ощущения и не будило так всей его заглохшей доброты и беспомощной нежности, как эти минуты, когда он шел рядом со своим мальчиком, пригоняя свой шаг к его маленьким шагам и чувствуя в своей руке легкую, доверчивую детскую ручку.

Когда они вышли из парка и шли по лугу под тонкими плакучими березами, мальчик осмотрелся и спросил:

-- Папа, разве бабочки боятся тебя?

-- Почему? Я не думаю. Недавно одна очень долго сидела у меня на пальце.

-- Да, но теперь нет ни одной. Когда я иногда иду к тебе совсем один и прохожу здесь, я вижу всегда много-много бабочек. Их зовут аргусы, я это знаю, и они знают меня и любят, они всегда подлетают ко мне совсем близко. Скажи, папа, бабочек нельзя прикармливать?

-- Отчего же, можно, мы как-нибудь попробуем. Надо капнуть на руку меду, вытянуть ее и спокойно-спокойно держать, пока мотыльки не прилетят и не напьются.

-- Вот хорошо, папа, непременно попробуем. Ты скажешь маме, чтобы она дала мне немножко меду, хорошо? Тогда она будет знать, что это не глупости, а что он мне в самом деле нужен.

Пьер вбежал в открытую входную дверь и побежал вперед по широкому коридору. Ослепленный ярким солнечным светом, художник еще искал в его прохладном полумраке вешалку для шляп и нащупывал дверь столовой, когда мальчик уже давно был внутри и бурно требовал от матери исполнения своей просьбы.

Художник вошел и подал жене руку. Это была крепкая, здоровая, но уже немолодая женщина, несколько выше его ростом. Она давно перестала любить

своего мужа, но все еще продолжала смотреть на утрату его нежности, как на печально-непонятное, незаслуженное несчастье.

-- Мы можем сейчас сесть за стол, -- своим спокойным голосом сказала она.-- Пьер, поди вымой руки!

-- У меня новость, -- начал художник, протягивая ей письмо друга.-- Отто приезжает на днях и, я надеюсь, пробудет здесь довольно долго. Ты ничего не имеешь против?

-- Господин Буркгардт может занять обе комнаты внизу, там ему никто не будет мешать, и он сможет уходить и приходить, когда захочет.

-- Да, это хорошо.

-- Я думала, он приедет гораздо позже, -- нерешительно сказала она.

-- Он выехал раньше, я тоже ничего не знал об этом до сегодняшнего дня. Ну, тем лучше.

-- Теперь выйдет, что он будет здесь в одно время с Альбертом.

При произнесении имени сына легкий проблеск радости сразу исчез с лица Верагута, и голос его сделался холоден.

-- Что такое с Альбертом? -- нервно воскликнул он. -- Ведь он собирался сделать с товарищем прогулку в Тироль!

-- Я не хотела говорить тебе этого раньше, чем необходимо. Его товарища пригласили родственники, и он отказался от прогулки. Альберт приедет, как только начнутся каникулы.

-- И пробудет все время здесь?

-- Я думаю, да. Я могла бы уехать с ним на несколько недель, но это было бы неудобно для тебя.

-- Почему? Я взял бы Пьера к себе.

Фрау Верагут пожала плечами.

-- Пожалуйста, не начинай опять об этом! Ты знаешь, я не могу оставить здесь Пьера одного.

Художник вышел из себя.

-- Одного! -- резко воскликнул он.-- Он не один, когда он у меня.

-- Я не могу оставить его здесь и не хочу. Спорить об этом совершенно излишне.

-- Да, конечно, ты не хочешь!

Он замолчал, так как вернулся Пьер, и все сели за стол. Мальчик сидел между обоими родителями, такими чужими друг другу, и оба ухаживали за ним и развлекали его, как делали это всегда, а отец старался затянуть обед как можно дольше, так как потом мальчик оставался у матери, и было сомнительно, придет ли он еще раз сегодня в мастерскую.

## II.

Роберт сидел в маленькой комнатке рядом с мастерской и мыл палитру и кисти. На пороге открытой двери показался Пьер. Он остановился и стал смотреть.

-- Грязная работа, -- после короткого раздумья заявил он. -- Вообще рисовать очень хорошо, но я ни за что не хотел бы быть художником.

-- Ну, ты еще подумай, -- сказал Роберт -- Ведь твой отец такой знаменитый художник.

-- Нет, -- решил мальчик, -- это не для меня. Вечно ходишь выпачканный, и краски пахнут так страшно сильно. Я люблю, когда немножко пахнет, например, когда свежая картина висит в комнате и чуть-чуть пахнет краской; но в мастерской пахнет уж чересчур, у меня всегда болела бы голова.

Камердинер испытующе посмотрел на него. Собственно ему давно хотелось высказать избалованному ребенку всю правду, он многого не одобрял в нем. Но



когда Пьер стоял перед ним, и он смотрел ему в лицо, то из этого ничего не выходило. Мальчик был такой свеженький, хорошенький и держал себя так важно, как будто решительно все в нем было в порядке, и именно это серьезничание, эти надменные и равнодушные манеры удивительно шли ему.

-- Чем же ты хотел бы быть? -- немного строго спросил Роберт.

Пьер опустил глаза и подумал.

-- Ах, знаешь, собственно я не хотел бы быть ничем особенным. Я хотел бы только поскорей разделаться со школой. И потом я хотел бы носить совсем белые костюмы и белые башмаки, и чтобы на них не было нигде ни малейшего пятнышка.

-- Так, так, -- неодобрительно заметил Роберт. -- Это ты говоришь теперь. А на днях, когда мы взяли тебя с собой, ты вымазал весь костюмчик вишнями и травой, а шляпу совсем потерял. Забыл?

Пьер закрыл глаза, оставив только маленькую щелочку, и холодно посмотрел сквозь длинные ресницы на Роберта.

-- За это меня мама тогда довольно бранила, -- медленно сказал он, -- и я не думаю, чтобы она поручила тебе опять упрекать меня и мучить этим.

Роберт поспешил переменить тему.

-- Так ты хотел бы всегда носить белые костюмы и никогда их не пачкать?

-- Ну, не никогда. Ты не понимаешь! Конечно, я хотел бы иногда поваляться на траве или на сене, или перепрыгивать через лужи, или взлезть на дерево. Ведь это понятно. Но если я когда-нибудь разойдусь и немножко пошалю, я хотел бы, чтобы меня не бранили. Я хотел бы тогда тихонько пойти в свою комнату и надеть чистый, свежий костюмчик, и чтобы все было опять хорошо. Знаешь, Роберт, я, право, думаю, что бранить вообще не стоит.

-- Ага, вот чего захотел! Ну, почему же не стоит?

-- Вот, видишь ли, когда сделаешь что-нибудь нехорошее, сам сейчас же сознаешь это, и становится так стыдно. Когда меня бранят, мне стыдно гораздо меньше. А иногда ведь бранят даже, когда не сделал ничего дурного, только за то, что не пришел сейчас, когда звали, или просто потому, что мама в плохом настроении.

-- А ты сосчитай-ка все хорошенько, -- засмеялся Роберт, -- вот и выйдет одно на одно: ведь ты наверно делаешь немало дурного, чего никто не видит и за что тебя никто не бранит.

Пьер не ответил. Вечно повторялось одно и то же. Стоило когда-нибудь увлечься и заговорить с взрослыми о чем-нибудь действительно важном, и всегда кончалось разочарованием или даже унижением.

-- Я хотел бы еще раз посмотреть картину, -- сказал он тоном, который вдруг резко отдалял его от камердинера и который Роберт мог одинаково счесть как за властный, так и за просительный; -- Впусти-ка меня еще на минутку.

Роберт повиновался. Он отпер дверь мастерской, впустил Пьера и вошел вместе с ним, так как ему было строго запрещено оставлять здесь кого-нибудь одного.

На мольберте посреди комнаты во временной золотой раме стояла новая картина Верагута. Она была поставлена так, чтобы свет падал на нее. Пьер стал перед ней, Роберт остановился на нем.

-- Тебе нравится, Роберт?

-- Конечно, нравится. Я был бы дураком, если бы мне не нравилось!

Пьер, прищурившись, смотрел на картину.

-- Я думаю, -- задумчиво сказал он, -- что мне могли бы показать много картин, и если бы там была папина, я сейчас же узнал бы ее. Потому я и люблю эти картины, я чувствую, что их нарисовал папа. Но, в сущности, они мне нравятся не особенно.

-- Не говори глупостей! -- испуганно остановил Роберт, укоризненно глядя на мальчика.

Но на Пьера это не произвело никакого впечатления. Он продолжал смотреть на картину прищуренными глазами.

-- Знаешь, -- сказал он, -- в большом доме есть несколько старых картин, те нравятся мне гораздо больше. Я хочу, чтобы такие картины были у меня когда-нибудь потом. Например, горы, когда солнце заходит, и все такое красное и золотое, и хорошенькие дети, и женщины, и цветы. Ведь все это, по правде сказать, гораздо красивее, чем вот такой старый рыбак, у которого нет даже настоящего лица, и такая скучная черная лодка, правда?

Роберт был в душе совершенно того же мнения и удивлялся смелости ребенка, которая в сущности радовала его. Но он не сознался в этом.

-- Ты этого еще не понимаешь, -- сухо сказал он.-- Ну, идем, я должен запереть опять.

В этот момент со стороны дома вдруг послышался какой-то грохот и пыхтение.

-- Автомобиль! -- радостно воскликнул Пьер и, выбежав из мастерской, бросился к дому запретным кратчайшим путем, прямо по траве, перепрыгивая через встречавшиеся по дороге цветочные клумбы.

Совсем запыхавшись, влетел он на усыпанную гравием площадку перед домом как раз в тот момент, когда его отец и какой-то чужой господин выходили из автомобиля.

-- Эй, Пьер! -- крикнул отец, подхватывая его на руки.-- Вот дядя, которого ты не знаешь. Подай ему руку и спроси, откуда он приехал.

Мальчик внимательно оглядел загорелое, красное лицо чужого господина. Он подал ему руку и заглянул в его светлые, веселые серые глаза.

-- Откуда ты приехал, дядя? -- послушно спросил он.

Чужой господин взял его на руки.

-- Ну, нет, ты стал слишком тяжел для меня, -- весело вздохнув, воскликнул он и опустил мальчика на землю.-- Откуда я приехал? Из Генуи, а раньше из Суэца, а раньше из Адена, а раньше...

-- Из Индии, знаю, знаю! Ты дядя Отто Буркгардт! Ты привез мне тигра или кокосовые орехи?

-- Тигр по дороге удрал, но кокосовые орехи ты получишь, и раковины и китайские картинки тоже.

Они вошли в дом, и Верагут повел друга по лестнице наверх. Хотя Отто был значительно выше его, он нежно положил ему руку на плечо. Наверху, в коридоре, их встретила хозяйка дома. Она тоже приветствовала гостя, жизнерадостное, здоровое лицо которого напомнило ей невозвратные счастливые времена, со сдержанной, но искренней сердечностью. Он на минуту задержал ее руку в своей и заглянул ей в лицо.

-- Вы не постарели, -- одобрительно заметил он, -- вы сохранились лучше Иоганна.

-- А вы совсем не изменились, -- дружелюбно сказала она.

Он засмеялся.

-- О, да, вид у меня цветущий, но от танцев я должен был понемножку отказаться. Да и все равно они ни к чему не вели, я все еще холостяк.

-- Я надеюсь, вы на этот раз приехали присмотреть себе невесту.

-- Нет, уж мое время прошло. Да и пришлось бы тогда навсегда распрощаться с милой Европой. Вы знаете, у меня есть родственники, и мало-помалу я превращаюсь в дядюшку из Америки. С женой я не посмел бы и показаться на родине.

В комнате фрау Верагут была приготовлена закуска, кофе и ликеры. Буркгардт рассказывал о морском путешествии, о каучуковых плантациях, о китайском фарфоре, и время летело незаметно. Художник вначале был молчалив и несколько

подавлен, он не был в этой комнате уже много месяцев. Но все шло хорошо, и присутствие Отто, казалось, внесло в дом легкую, более радостную, более детскую атмосферу.

-- Я думаю, моей жене пора отдохнуть,-- сказал, наконец, художник.-- Я покажу тебе твои комнаты, Отто.

Они простились и сошли вниз. Верагут приготовил для друга две комнаты и сам позаботился об их устройстве, сам расставил мебель и подумал обо всем, начиная с картин на стене и кончая подбором книг на полке. Над кроватью висела старая выцветшая фотография, забавно-трогательный снимок институтского выпуска семидесятых годов. Гость заметил его и подошел поближе, чтобы хорошенько рассмотреть.

-- Господи Боже! -- с изумлением воскликнул он, -- да ведь это мы, все тогдашние, шестнадцать душ! Дружище, ты трогаешь меня. Я не видел этой штуки уже двадцать лет.

Верагут улыбнулся.

-- Да, я подумал, что это позабавит тебя. Надеюсь, ты найдешь здесь все, что тебе нужно. Ты сейчас будешь раскладывать вещи?

Буркгардт удобно уселся на огромный, обитый по углам медью дорожный сундук и довольно осмотрелся.

-- А здесь славно. А где твоя комната? Рядом? Или наверху?

Художник играл ручкой саквояжа.

-- Нет, -- небрежно сказал он.-- Я живу теперь напротив, при мастерской. Я сделал к ней пристройку.

-- Это ты должен мне потом показать... Но... ты спишь тоже там?

Верагут оставил саквояж и обернулся.

-- Да, я сплю тоже там.

Буркгардт замолчал и немного подумал. Затем он вынул из кармана большую связку ключей и принялся греметь ими.

-- Давай-ка, разложим вещи, а? Поди, позови мальчика, ему будет занятно посмотреть.

Верагут вышел и скоро вернулся с Пьером.

-- Какие у тебя чудные сундуки, дядя Отто, я уже видел их. И сколько на них ярлыков! Я прочел несколько. На одном написано Пенанг. Что это такое, Пенанг?

-- Это город в Индии, куда я иногда езжу. Ну-ка, открой вот это!

Он дал мальчику плоский зубчатый ключ и велел ему отпереть замки одного из сундуков. Затем он поднял крышку, и в глаза сейчас же бросилась лежавшая сверху вверх дном пестрая плоская корзина малайской плетеной работы. Он перевернул ее, освободил от бумаги и открыл: внутри, среди бумаги и тряпок, лежали чудеснейшие фантастические раковины, какие продаются в экзотических портовых городах.

Пьер получил раковины в подарок и совсем затих от счастья; за раковинами последовал большой слон черного дерева и китайская игрушка с причудливыми передвижными деревянными фигурами, и, наконец, пачка ярких светящихся китайских картинок с изображениями богов, чертей, королей, воинов и драконов.

Между тем, пока художник вместе с мальчиком дивился всем этим вещам, Буркгардт распаковал саквояж и разложил по местам домашние туфли, белье, щетки и тому подобные необходимые принадлежности. Затем он вернулся к обоим.

-- Ну, вот, -- весело сказал он, -- на сегодня довольно работы. Теперь можно себе позволить и удовольствие. Пойдем сейчас в мастерскую?

Пьер поднял глаза и опять, как при встрече у автомобиля, с изумлением посмотрел на радостно-взволнованное и вдруг помолодевшее лицо отца.

-- Ты такой веселый, папа, -- одобрительно заметил он.

-- Да, детка,--подтвердил Верагут.

Но его друг спросил:

-- А разве он всегда не такой веселый?

Пьер смущенно переводил взор от одного к другому.

-- Не знаю,-- неуверенно ответил он, но сейчас же засмеялся и решительно сказал:-- Нет, такой веселый ты не был еще никогда.

Он схватил свою корзинку с раковинами и выбежал из комнаты. Отто Буркгардт взял друга об руку и вышел вслед за мальчиком. Они прошли через парк и подошли к мастерской.

-- Да, видно, что здесь пристроено, -- сейчас же заметил Отто, -- но очень мило. Когда ты это сделал?

-- Кажется, года три тому назад. Мастерскую я тоже увеличил.

Буркгардт осмотрелся.

-- Озеро восхитительно! Надо будет вечером выкупаться. У тебя здесь чудесно, Иоганн. Но теперь я хочу посмотреть мастерскую. Есть у тебя там новые картины?

-- Немного. Но одну -- я ее кончил только позавчера -- ты должен посмотреть. Мне кажется, что она хороша.

Верагут открыл двери. Высокая комната была празднично чиста, пол только что вымыт, и все убрано. В середине одиноко стояла новая картина. Они молча остановились перед ней. Холодная и сырая, тяжелая атмосфера пасмурного, дождливого утра стояла в противоречии с ярким светом и жарким, согретым солнцем воздухом, вливающимся в открытую дверь.

Они долго смотрели на картину.

-- Это последнее, что ты сделал?

-- Да. Сюда нужна другая рама, остальное все закончено. Тебе нравится?

Друзья испытующе заглянули друг другу в глаза. Высокий и сильный Буркгардт с здоровым лицом и теплыми, жизнерадостными глазами стоял, как большой ребенок, перед маленьким художником с преждевременно поседевшими волосами, осунувшимся лицом и суровым взглядом.

-- Это, может быть, твоя лучшая картина,-- медленно сказал гость.-- Я видел также брюссельские и те две, что в Париже. Я не поверил бы этому, но за эти несколько лет ты еще пошел вперед.

-- Я очень рад. Я тоже это думаю. Я был довольно прилежен, и иногда мне кажется, что прежде я, в сущности, был только дилетантом. Работать как следует я научился поздно, но теперь я вполне овладел этим искусством. Дальше я уж не пойду, лучше вот этого я уж не могу ничего сделать.

-- Я понимаю. Ну, ты уж и так достаточно знаменит, даже на наших старых восточно-азиатских пароходах мне случалось слышать о тебе. Можешь себе представить, как я был горд. Ну, а как тебе нравится быть знаменитостью? Твоя слава тебя радует?

-- Радует -- нельзя сказать. Мне она кажется в порядке вещей. Есть два, три, четыре художника, которые, может быть, представляют собой большие величины и могут дать больше меня. К совсем великим я себя не причислял никогда, и то, что об этом говорят всякие писаки, конечно, ерунда. Я могу требовать, чтобы меня принимали в серьез, и так как это делают, то я доволен. Все остальное -- газетная слава или денежный вопрос.

-- Да, пожалуй. Но кого ты подразумеваешь под совсем великими?

-- Ну, под ними я подразумеваю царей и князей. Наш брат добирается до генерала или министра, тут нам и предел положен. Видишь ли, мы можем только быть прилежны и относиться к природе как можно серьезнее. Цари же с природой запанибрата, они играют с ней и могут сами творить там, где мы только копируем. Но, конечно, цари редки, они рождаются раз в несколько столетий.

Они ходили взад и вперед по мастерской. Художник, ища слов, напряженно смотрел в землю, друг ходил рядом, стараясь прочесть правду на смуглом, худощавом, костлявом лице Иоганна.

У двери в соседнюю комнату Отто остановился.

-- Открой же, -- попросил он, -- и покажи мне комнаты. И угости меня сигарой, хорошо?

Верагут открыл дверь. Они прошли через комнату и заглянули в соседние. Буркгардт закурил сигару. Он вошел в маленькую спальню друга, посмотрел на его кровать и внимательно осмотрел несколько скромных комнаток, в которых повсюду были разбросаны живописные и курительные принадлежности. Все в общем имело почти убогий вид и говорило о работе и воздержании, точно маленькая квартирка бедного, прилежного холостяка.

-- Значит, ты здесь устроился! -- сухо сказал он.

Но он видел и чувствовал все, что произошло за эти годы. Он с удовлетворением заметил предметы, указывавшие на увлечение спортом, гимнастикой, верховой ездой, и с огорчением обратил внимание на полное отсутствие каких-нибудь признаков уюта, маленького комфорта и приятно проводимых часов досуга.

Затем они вернулись к картине. Так вот как создавались эти картины, занимавшие почетные места на выставках и в картинных галереях и оплачивавшиеся так высоко. Они создавались здесь, в этих комнатах, которые знали только работу и отречение, в которых нельзя было найти ничего праздничного, ничего бесполезного, никаких милых пустячков и безделушек, в воздухе которых не чувствовалось ни аромата вина и цветов, ни воспоминаний о женщинах.

Над узкой кроватью были прибиты две фотографии без рамок, одна -- маленького Пьера, другая -- Отто Буркгардта. Он сейчас же узнал ее: это был плохой любительский снимок, изображавший его в тропическом шлеме перед верандой его индийского дома; под грудью все расплывалось в мистические белые полосы, потому что на пластинку попал свет.

-- Мастерская у тебя великолепная. Вообще, как ты стал прилежен! Дай твою руку, дружище, как я рад, что опять вижу тебя! Но теперь я устал и исчезну на часок. Зайди за мной попозже, пойдем купаться или гулять, хорошо? Спасибо. Нет, мне ничего не нужно, через час я буду опять all right. До свиданья!

Он, не торопясь, двинулся к дому, и Верагут смотрел ему вслед, любуясь уверенностью и спокойной жизнерадостностью, выразившимися в его фигуре, походке, в каждой складке его платья.

Между тем, Буркгардт хотя и зашел в дом, но прошел мимо своих комнат, поднялся по лестнице и постучался в дверь комнаты фрау Верагут.

-- Я не мешаю? Можно мне немножко к вам?

Она, улыбаясь,пустила его, и эта слабая, неловкая улыбка на здоровом, тяжелом лице показалась ему странно беспомощной.

-- Что за прелесть ваша Росгальда! Я был уже в парке и у озера. А как вырос Пьер! Он такой хорошенький, что я начинаю почти раскаиваться, что остался холостяком.

-- Он производит впечатление здорового мальчика, правда? Как вы находите, он похож на мужа?

-- Немножко. Или, собственно, даже больше, чем немножко. Я не знал Иоганна в этом возрасте, но я еще довольно хорошо помню, какой он был в одиннадцать-двенадцать лет. Кстати, мне кажется, что у него утомленный вид. Что? Нет, я говорю об Иоганне. Он в последнее время очень много работал?

Фрау Адель посмотрела ему в лицо; она чувствовала, что он хочет выпытать у нее правду.

-- Кажется, да, -- спокойно ответила она.--Он очень мало говорит о своей работе.

-- Что же он теперь пишет? Пейзажи?

-- Он работает часто в парке, большею частью с натурщиками. Вы видели его картины?

-- Да, те, что в Брюсселе.

-- Разве он выставял в Брюсселе?

-- Конечно, массу картин. Я привез каталог с собой. Я хочу купить какую-нибудь из них, и мне очень хотелось бы знать, что вы думаете, например, об этой.

Он подал ей тетрадку и указал на маленькую репродукцию. Она посмотрела на картинку, перелистала книжку и вернула ее ему.

-- Я не могу ничего сказать, господин Буркгардт, я этой картины не знаю.

Кажется, он написал ее прошлой осенью в Пиренеях и сюда совсем не привозил.

Она помолчала, затем перевела разговор на другую тему.

-- Я еще не поблагодарила вас за подарки, которые вы привезли Пьеру.

-- О, это такие пустяки. Но вы должны позволить мне дать вам тоже на память что-нибудь азиатское. Позволяете? Я привез с собой кое-какие материи, которые мне хотелось бы показать вам, и вы должны непременно выбрать себе то, что вам понравится.

В ответ на ее вежливый отказ он затеял целую шутивно-галантную словесную войну, и, в конце концов, ему удалось привести замкнутую женщину в хорошее настроение. Он принес из своей сокровищницы целую охапку индийских тканей, разложил малайские материи и ручные тканые работы, разостлал на спинках стульев кружева и шелка, подробно рассказывал, где нашел и приобрел за бесценок то или другое, и устроил веселый и пестрый маленький базар. Он спрашивал ее мнение, набрасывал ей кружева на руки, объяснял, как они сделаны, и заставлял ее разворачивать лучшие куски, щупать их, хвалить и, в конце концов, брать себе.

-- Нет, -- наконец, смеясь, воскликнула она,-- я совсем разорю вас. Я не могу оставить все это у себя.

-- Не беспокойтесь, -- засмеялся он. -- Я недавно посадил опять шесть тысяч каучуковых деревьев и собираюсь сделаться настоящим набобом.

Когда Верагут пришел за ним, он застал обоих в оживленной беседе. С изумлением наблюдал он за тем, как разговорчива стала его жена, сделал тщетную попытку вмешаться в разговор и, заметив подарки, принялся немного неуклюже выражать свое восхищение.

-- Брось, это все дамские вещи, -- сказал ему друг. -- Пойдем-ка лучше выкупаемся!

И он увлек его к озеру.

-- Твоя жена, в самом деле, почти не постарела с тех пор, как я видел ее в последний раз, -- начал по дороге Отто. -- Только что она была очень весела. В этом отношении у вас, значит, все благополучно. Недостает только старшего сына. Где же он?

Художник пожал плечами и сдвинул брови.

-- Ты увидишь его, он приезжает на днях. Ведь я тебе как-то писал об этом.

И вдруг он остановился, приблизил свое лицо к лицу друга, проницательно заглянул ему в глаза и тихо сказал:

-- Ты все увидишь, Отто. У меня нет потребности говорить об этом. Ты увидишь. Будем же веселы, пока ты здесь, дружище! А теперь пойдем к пруду, мне хочется опять поплавать с тобой наперегонки, как в детстве.

-- Давай, -- согласился Буркгардт, казалось, не замечавший нервности Иоганна.-- И ты выиграешь, мой милый, что тебе раньше не всегда удавалось. Как мне ни горько признаться, но у меня растет брюшко.

Уже смеркалось. Озеро было все окутано тенью, в верхушках деревьев играл легкий ветерок, а по узкому голубому вырезу неба над водой, единственному, который парк позволял видеть, братской вереницей плыли легкие лиловые облачка, все одного вида и формы, тонкие и длинные, как листья ивы. Друзья стояли перед спрятанной в кустах купальней, замок которой не хотел отпираться.

-- Брось! -- воскликнул Верагут. -- Он заржавел. Да нам купальня и не нужна.

Он стал раздеваться, Буркгардт последовал его примеру. Когда оба друга, уже раздетые, стояли на берегу и кончиками пальцев пробовали тихую, сумеречную воду, над ними в одно и то же мгновение пронеслось неясное сладостное дуновение из далеких времен детства; с секунду они стояли в предвкушении легкого, приятного трепета, который всегда овладевает купающимися в первый момент вхождения в воду, и в душах их тихо открывалась светлая, зеленая долина летних дней юности. Непривычные к мягким чувствам, они в легком смущении погружали ноги в воду и молча следили за кругами, которые, сверкнув, быстро разбегались по голубовато-зеленому зеркалу.

Наконец, Буркгардт быстро вошел в воду.

-- Ах, как хорошо, -- блаженно вздохнул он.-- А, между прочим, мы с тобой еще можем показаться; если не считать моего брюшка, мы еще совсем молодцы.

Он поплыл вперед, встряхнулся и нырнул.

-- Ты не знаешь, как тебе хорошо! -- с завистью воскликнул он.-- По моей плантации протекает чудеснейшая река, но если ты сунешь в нее ногу, то никогда больше ее не увидишь. Вся она так и кишит проклятыми крокодилами. Ну, теперь вперед, на большой кубок Росгальды! Поплывем до той лестницы и обратно. Идет? Раз, два, три!

Они шумно оттолкнулись от берега и поплыли, сначала смеясь и в умеренном темпе. Но дыхание юношеских дней еще носилось над ними: скоро состязание получило серьезный характер, лица приняли напряженное выражение, глаза сверкали, а руки, блестя, широкими взмахами рассекали воду. Они достигли лестницы одновременно, одновременно оттолкнулись опять и поплыли обратно. На этот раз художник несколькими сильными взмахами обогнал друга и очутился у цели немного раньше его.

Тяжело дыша, стояли они в воде, протирая глаза и молча глядя друг на друга смеющимся довольным взглядом, и обоим казалось, что теперь только они опять старые товарищи, и только теперь маленькая роковая пропасть непривычки и отчуждения между ними начинает исчезать.

Они оделись и с освеженными лицами и облегченной душой сели рядом на плоские каменные ступеньки ведущей к озеру лестницы. Они смотрели на темную гладь воды, терявшуюся уже по ту сторону, в овальной, закрытой кустами бухте, в исчерна-коричневом сумраке, лакомились сочными красными вишнями, которые отобрали по дороге у камердинера, не дав ему даже вынуть их из коричневого бумажного мешка, и с легким сердцем следили, как надвигается вечер, и как все ниже спускается солнце, пока оно не стало между стволами и не залегло золотых огней на зеркальных крыльях стрекоз. И они с добрый час, не останавливаясь и не задумываясь, болтали об институтских временах, об учителях и товарищах и о том, что вышло из того или другого.

-- Боже мой, -- своим ясным и веселым голосом сказал Отто, -- как это было давно! Неужели никто не знает, что случилось с Метой Гейлеман?

-- Да, Мета Гейлеман! -- жадно подхватил Верагут. -- Она была в самом деле красивая девушка. Все мои бювары были полны ее портретами, которые я во время уроков украдкой рисовал на пропускной бумаге. Волосы мне никогда не удавались как следует. Помнишь, она носила их двумя толстыми завитками над ушами.

-- Ты ничего о ней не знаешь?

-- Ничего. Когда я в первый раз вернулся из Парижа, она была помолвлена с каким-то адвокатом. Я встретил ее с братом на улице, и еще помню, как я был зол на себя за то, что сейчас же покраснел и, несмотря на усы и весь парижский опыт, показался себе опять глупым маленьким школьником. Уже одно, что ее звали Метой! Я не мог забыть этого имени!

Буркгардт мечтательно покачал круглой головой.

-- Ты не был достаточно влюблен, Иоганн. Для меня не было никого лучше Меты, я из-за одного взгляда ее пошел бы в огонь, если бы даже ее звали Евлалией.

-- О, я тоже был достаточно влюблен. Раз, когда я возвращался с нашей обычной прогулки, на которую мы выходили в пять часов, -- я нарочно опоздал, я был один и не думал ни о чем на свете, кроме Меты, и мне было совершенно безразлично, что при возвращении меня накажут, -- я встретил ее, знаешь, у круглой стены. Она шла об руку с какой-то подругой, и я вдруг представил себе, как бы это было, если бы вместо этой дуры ее руку держал в своей я, и она была бы так близко от меня. У меня так закружилась голова, что я должен был остановиться и прислониться к стене. А когда я, наконец, пришел домой, ворота в самом деле были уже заперты, мне пришлось звонить, и меня посадили на час в карцер.

Буркгардт улыбнулся, вспомнив, что уже не в первый раз они при своих редких встречах вспоминают эту Мету. Тогда, в юности, они тщательно скрывали друг от друга эту любовь, и только много лет спустя, уже взрослыми мужчинами, случайно приподняли завесу и поведали друг другу свою маленькую тайну. И однако кое-что еще и теперь каждый из них таил про себя. Отто Буркгардт вспомнил, как он тогда несколько месяцев хранил у себя и обожал перчатку Меты, которую нашел или, собственно говоря, украл, и о которой его друг до сих пор ничего не знал. Он подумал, не пожертвовать ли ему и этой историей, но только хитро улыбнулся и промолчал, найдя, что будет лучше, если это маленькое последнее воспоминание останется и впредь замкнутым в его душе.

### III.

Буркгардт, удобно развалившись в желтом плетеном кресле и сдвинув на затылок большую панаму, сидел с газетой в руках, курия и читая, в ярко освещенной солнцем беседке с западной стороны мастерской, а недалеко от него на низком складном стульчике перед мольбертом сидел Верагут. Фигура читающего была уже готова, теперь художник писал лицо, и вся картина так и ликовала в своих светлых, легких, солнечных, но не ярких тонах. В воздухе стоял пряный запах масляной краски и гаванских сигар, птицы, спрятавшись в зелени, издавали свои тонкие, полуденно-заглушенные крики и сонно и мечтательно не то пели, не то переговаривались. На земле, задумчиво водя тонким указательным пальчиком по большой географической карте, на корточках сидел Пьер.

-- Смотри, не засни! -- предостерег художник.

Буркгардт с улыбкой взглянул на него и покачал головой.

-- Где ты теперь, Пьер? -- спросил он мальчика.

-- Подожди, сейчас прочту, -- торопливо ответил Пьер, принимаясь разбирать по складам какое-то название на своей карте. -- В Лю... в Люц... Люц... в Люцерне. Там есть озеро или море. Оно больше, чем наше озеро, дядя?

-- Гораздо больше! Раз в двадцать! Ты непременно когда-нибудь поезжай туда.

-- О, да. Когда у меня будет автомобиль, я поеду в Вену, и в Люцерн, и к Северному морю, и в Индию, где твой дом. А ты будешь тогда дома?

-- Конечно, Пьер. Я всегда бываю дома, когда ко мне приезжают гости. Тогда мы идем к моей обезьяне, которую зовут Пендек и у которой нет хвоста, но зато есть



белоснежные бакенбарды, а потом берем ружья и едем в лодке по реке и стреляем крокодилов.

Пьер слушал с удовольствием, раскачиваясь всем своим стройным телом. Дядя продолжал рассказывать о том, как юн выжигал малайские девственные леса, и говорил так хорошо и так долго, что мальчик под конец устал и не мог больше слушать. Он снова рассеянно взялся за изучение своей карты; зато его отец внимательно слушал разговарившегося друга, который неторопливо рассказывал о работе и охоте, о поездках верхом и в лодках, о красивых селениях кули с легкими домиками из бамбука и об обезьянах, цаплях, орлах, бабочках и так соблазнительно и осторожно раскрывал перед ним свою тихую, уединенную, тропическую лесную жизнь, что художнику казалось, будто он заглядывает сквозь щелку в богатую, яркую, блаженную райскую страну. Он слушал о тихих, могучих потоках в девственном лесу, о папоротниковых зарослях с дерево вышиной и об обширных, колышущихся равнинах с травой в человеческий рост; он слушал о многоцветных закатах на морском берегу, в виду коралловых островов и голубых вулканов, о бурных свирепых ливнях и огненных грозах, о мечтательно - созерцательной дремоте в жаркие дни на широких тенистых верандах белых плантаторских домов, о суতোлке китайских городских улиц и о вечерних часах отдыха малайцев у плоского каменного пруда перед мечетью.

Снова, как уже не раз прежде, воображение Верагута уносилось в далекую страну, родину друга, и он не знал, насколько томление и тихая жажда его души отвечали скрытым намерениям Буркгардта. Не только блеск тропических морей и берегов, богатство лесов и потоков, колоритность полунагих первобытных народов вызывали в нем это стремление и опьяняли его образами. Еще больше манили его отдаленность и тишина этого мира, где его страдания, заботы, борьба и лишения должны были побледнеть и отойти от него, где сотни маленьких ежедневных тяжестей спали бы с его души, и новая, еще чистая, не знающая ни страданий, ни вины атмосфера приняла бы его в свои объятия.

День склонялся к вечеру, тени перемещались. Пьер давно убежал, Буркгардт мало-помалу замолк и, наконец, задремал, портрет же был почти готов, и художник закрыл на несколько минут утомленные глаза, опустил руки и с почти болезненным наслаждением упивался глубокой, солнечной тишиной, близостью друга, ощущением приятной усталости после удавшейся работы и успокоением ослабевших нервов. Эти тихие моменты усталого отдохновения, похожие на полные растительного спокойствия дремотные состояния между сном и пробуждением, были уже давно, наряду с опьянением новых замыслов и беспощадной работы, его глубочайшим и отраднейшим наслаждением.

Он тихонько, чтобы не разбудить Буркгардта, встал и осторожно отнес холст в мастерскую. Там он снял полотняную рабочую блузу, вымыл руки и омыл слегка утомленные глаза холодной водой. Четверть часа спустя он уже стоял возле дремлющего друга, с минуту испытующе смотрел на него и затем разбудил его былым свистом, который они еще двадцать пять лет тому назад ввели в употребление в качестве тайного сигнала и условного знака.

-- Если ты выспался, дружище,-- весело попросил он,-- Расскажи мне еще немножко о ваших заморских странах,-- за работой я не мог слушать, как следует. Ты говорил что-то о фотографиях, они у тебя с собой? Можно взглянуть на них?

-- Разумеется, хоть сейчас! Пойдем!

Этого момента Отто Буркгардт ждал уже несколько дней. Много лет уже он мечтал о том, чтобы заманить Верагута к себе в восточную Азию и оставить его у себя там на некоторое время. На этот раз ему казалось, что представляется последний случай; поэтому он подготовился и действовал самым обдуманном и планомерным образом. Сидя с другом в своей комнате и беседуя с ним при свете

заходящего солнца об Индии, он вынимал из своего сундука все новые альбомы и папки с фотографиями. Художник был восхищен и удивлен этим изобилием, Буркгардт оставался спокоен и, казалось, не придавал этим листкам особенного значения; но втайне он напряженно ждал их действия.

-- Что за чудные снимки! -- в восхищении воскликнул Верагут.-- Ты делал их сам?

-- Частью сам,-- сухо сказал Буркгардт,-- а некоторые взял у знакомых. Я хотел дать тебе понятие о том, что можно увидеть там у нас.

Он сказал это небрежно, равнодушно складывая листки в пачки, и Верагут не мог догадаться, какого труда и забот стоило ему собрать эту коллекцию. Несколько недель у него прожил молодой фотограф англичанин из Сингапура, а потом японец, и во время бесчисленных прогулок и маленьких путешествий от моря до самой гущи лесов они выискали и сфотографировали все, что могло показаться сколько-нибудь красивым и интересным; затем снимки с необыкновенной тщательностью проявлялись и печатались. Они были приманкой Буркгардта, и он с глубоким волнением следил за тем, как его друг, попавшись на удочку, застревал на ней все крепче. Он показывал фотографии домов, улиц, деревень, храмов, снимки сказочных пещер и меловых и мраморных гор с их дикой красотой, а когда Верагут спросил, нет ли у него снимков туземцев, он вытащил изображения малайцев, китайцев, тамиллов, арабов, яванцев, показал другу нагих атлетов -- портовых кули, жилистых старых рыбаков, охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красивых, в золотых украшениях, женщин, группы темных нагих детей, рыбаков с сетями и яванских танцовщиц в жестких серебряных уборах. У него были снимки всех родов пальм, широколистных, сочных банановых деревьев, уголков девственного леса с вьющимися лианами, священных рощ и черепаховых прудов, водяных буйволов в мокрых рисовых полях, рунных слонов за работой и диких, игравших в воде и поднимавших к небу, точно трубы, свои хоботы.

Художник брал в руки снимок за снимком. На многие он бросал только короткий взгляд и отодвигал их в сторону, некоторые раскладывал рядом, сравнивая их, отдельные фигуры и головы внимательно разглядывал сквозь кулак. О многих снимках он спрашивал, в какое время дня они были сделаны, измерял тени и все глубже погружался в задумчивое созерцание.

-- Все это можно было бы написать,-- забывшись, пробормотал он раз про себя.

-- Довольно!-- наконец, глубоко переводя дыхание, воскликнул он. -- Ты должен рассказать мне еще целую массу. Как чудесно, что ты здесь у меня! Я вижу все опять совсем иначе. Пойдем, погуляем еще часок, я покажу тебе что-то интересное.

Возбужденный, забыв всякую усталость, он увлек Буркгардта на шоссе на дорогу, в поле, навстречу возвращавшимся возам с сеном.

-- Помнишь,-- со смехом спросил он,-- лето после моего первого семестра в академии, когда мы были вместе в деревне? Я тогда писал сено, одно только сено и больше ничего, помнишь? Две недели я бился над несколькими копнами сена на горном лугу, и у меня ничего не выходило, не получалось цвета, этого тусклого, матового серого оттенка! И когда, наконец, мне удалось его добиться--он был еще не слишком хорош,' но я знал, что он должен быть смешан из красного и зеленого - - я был так рад, что не видел больше ничего, кроме сена. Ах, сколько прелести в этих первых пробах, поисках и находениях!

-- Ну, я думаю, учиться не перестаешь никогда? -- заметил Отто.

-- Конечно, нет. Но вещи, которые меня мучат теперь, не имеют ничего общего с техникой. Знаешь, в последние годы я все чаще при виде того или иного пейзажа или какой-нибудь картины природы думаю о детстве. Тогда все имело иной вид, и вот так-то мне и хотелось бы все это написать. На несколько минут мне иногда удается достигнуть того, что все вдруг опять приобретает странный блеск, но этого

еще недостаточно. У нас есть столько хороших художников, тонких, деликатных людей, которые рисуют мир таким, каким его видит умный, тонкий, скромный старик. Но у нас нет ни одного, который рисовал бы его таким, каким его видит здоровый, заносчивый, породистый мальчуган! Правда, некоторые пробуют сделать это, но это большей частью плохие ремесленники.

Он, задумавшись, сорвал с края поля красновато - синюю скабиозу и вперил в нее взгляд.

-- Тебе не скучно? -- вдруг спросил он, точно пробуждаясь, и недоверчиво глядя на друга.

Отто молча улыбнулся ему.

-- Знаешь,-- продолжал художник,-- что мне еще хотелось бы написать? Букет полевых цветов. Надо тебе знать, что моя мать умела составлять такие букеты, каких я нигде больше не видел, она была в этом отношении прямо гениальна. Она была настоящий ребенок и почти всегда пела, одевалась очень легко и носила большую коричневую соломенную шляпу, я вижу ее во сне всегда в таком виде. Вот такой букет полевых цветов, какие она любила, мне и хотелось бы написать: скабиоза, и кашка, и маленькие розовые колокольчики, вперемежку с какими-нибудь красивыми травками, а в середину воткнут зеленый колос овса. Я принес домой сотни таких букетов, но это было все не то. В нем должен быть весь аромат поля, и он должен быть такой, как если бы она сама составила его. Белая кашка, например, ей не нравилась, она брала только особенную, редкую, с лиловатым оттенком, и она могла часами выбирать между тысячами травок, пока не останавливалась на какой-нибудь одной. Ах, я не могу выразить, ты не поймешь.

-- Я понимаю,-- сказал Буркгардт.

-- Да, так вот об этом букете я думаю иногда по целым дням. Я отлично знаю, какой должна быть картина. Она не должна представлять собою этот хорошо знакомый нам кусочек природы, воспринятый хорошим наблюдателем и упрощенный хорошим, ловким художником, но не должна быть и сентиментальной и слащавой. Она должна быть совсем наивна, как видят одаренные дети, не стилизована и полна простоты. Картина в тумане, с рыбами, что стоит в мастерской, как раз противоположность этому, но надо уметь и то и другое... Ах, я хочу еще много писать, много!

Он свернул на узкую тропинку, которая вела слегка в гору на круглый, отлогий холм.

-- Теперь смотри хорошенько, -- предупредил он, вглядываясь, как охотник, перед собой в воздух.-- Как только дойдем доверху! Это я напишу осенью.

Они достигли верхушки пригорка. По ту сторону его лиственный лесок, пронизанный косыми лунами заходящего солнца, задерживал собою взгляд, который, будучи избалован светлым простором луга, не сразу разбирался в гуще деревьев. Под высокими буками, между которыми стояла каменная, обросшая мхом скамья, проходила дорожка, и, следуя за ней, глаз находил просвет: за скамьей, сквозь темную чащу древесных крон, открывалась, сияя, глубокая даль -- полная кустарника и ивовой поросли долина, иссиня-зеленые изгибы сверкающей реки, а совсем вдали теряющиеся в безграничности ряды холмов.

Верагут указал вниз.

-- Это я напишу, как только буки начнут расцветиваться красками. А на скамью, в тень, я посажу Пьера, так что в долину придется смотреть мимо его головы.

Буркгардт молчал и слушал друга с душой, полной жалости. "Как он старается обмануть меня!" -- с тайной усмешкой думал он.-- "Как он говорит о планах и работах-" Прежде он этого никогда не делал". Это имело такой вид, как будто он хотел перечистить все, что еще доставляло ему радость и примиряло с жизнью. Друг знал его и не шел ему навстречу. Он знал, что это недолго продлится, что

скоро Иоганн сбросит с себя все накопившееся за эти годы и освободится от бремени ставшего невыносимым молчания. И в ожидании этого он с кажущимся спокойствием шел рядом с ним, грустно удивляясь, что даже и так высоко стоящий человек в несчастье становится ребенком и продирается сквозь шипы с завязанными глазами и руками.

Вернувшись в Росгальду и спросив о Пьере, они узнали, что он поехал с фрау Верагут в город, встречать господина Альберта.

#### IV.

Альберт Верагут стремительно ходил взад и вперед по гостинной матери. С первого взгляда казалось, что он похож на отца, потому что у него были отцовские глаза, но на самом деле он гораздо больше походил на мать, которая стояла тут же, прислонившись к роялю, и следила за ним внимательным, нежным взглядом. Когда он снова прошел мимо нее, она удержала его за плечи и повернула лицом к себе. На его широкий, бледный лоб спадала прядь белокурых волос, глаза пылали юношеским возбуждением, а красивые полные губы были гневно искривлены.

-- Нет, мама, -- пылко воскликнул он, высвобождаясь из ее рук, -- ты знаешь, я не могу пойти к нему. Это было бы бессмысленной комедией. Он знает, что я его ненавижу, и сам ненавидит меня тоже, что бы ты ни говорила.

-- Ненавидит! -- с легкой строгостью воскликнула она.-- Оставь эти громкие слова, искажающие все! Он твой отец, и было время, когда он тебя очень любил. Я принуждена запретить тебе так говорить.

Альберт остановился и посмотрел на нее сверкающими глазами.

-- Конечно, ты можешь запретить мне то или иное слово, но что от этого изменится? Уж не должен ли я быть ему благодарен? Он отравил тебе жизнь, а мне родные места, он сделал из нашей чудной, радостной, великолепной Росгальды место, которое может внушить только тоску и отвращение. Я вырос здесь, мама, и бывают времена, когда мне каждую ночь снятся старые комнаты и коридоры, сад, и конюшня, и голубятня. У меня нет другого места, которое я мог бы любить и видеть во сне, и по которому я мог бы тосковать. И вот я должен жить в чужих краях и не могу даже на каникулах привезти сюда с собой друга, чтобы он не видел, что за жизнь мы здесь ведем! И каждый, кто со мной знакомится и узнает мое имя, сейчас же начинает петь хвалебный гимн моему знаменитому отцу. Ах, мама, я хотел бы, чтобы у нас лучше совсем не было отца и Росгальды, и мы были бедняками, и ты должна была бы шить или давать уроки, а я помогать тебе зарабатывать деньги.

Мать догнала его и, насильно усадив в кресло, села к нему на колени и пригладила его растрепавшиеся волосы.

-- Так, -- сказала она своим спокойным, низким голосом, звук которого олицетворял для него все родное,-- теперь ты мне все сказал. Высказаться иногда бывает очень полезно. Надо знать то, что приходится сносить. Но не надо растравлять своих ран, дитя мое. Ты теперь такой же взрослый, как я, и скоро будешь мужчиной, и я этому рада. Ты мое дитя, и им и останешься, но ты видишь, я всегда одна, и у меня много забот, мне нужен настоящий друг-мужчина, и я надеюсь, что этим другом будешь ты. Ты будешь играть со мной в четыре руки, гулять со мной по саду и помогать мне присматривать за Пьером, мы проведем чудные каникулы. Но ты не должен поднимать шума и делать все это еще тяжелей для меня, иначе я буду думать, что ты еще ребенок, и еще много времени пройдет, прежде чем у меня, наконец, будет умный друг, которого мне так хотелось бы иметь.

-- Да, мама, да. Но неужели надо всегда молчать обо всем, что делает человека несчастным?

-- Это самое лучшее, Альберт. Это нелегко, и от детей этого нельзя требовать. Но это самое лучшее. А теперь, хочешь, поиграем немножко?

-- Да, с удовольствием. Бетховена, вторую симфонию, хочешь?

Они только что начали играть, как дверь тихонько отворилась, и в комнату проскользнул Пьер. Он уселся на скамеечку и стал слушать. При этом он задумчиво смотрел на брата, на его шею в мягком шелковом воротничке, на покачивавшийся в такт музыке вихор на голове, на его руки. Теперь, когда он не видел глаз, его поразило сходство Альберта с матерью.

-- Тебе нравится? -- спросил во время паузы Альберт.

Пьер кивнул головой, но сейчас же после этого опять тихо вышел из комнаты. В вопросе Альберта ему почудился тот тон, которым, по его наблюдениям, говорило с детьми большинство взрослых и лживой ласковости и высокомерной снисходительности которого он терпеть не мог. Он был рад приезду брата, нетерпеливо ждал его и встретил на вокзале с большой радостью. Но этого тона он не хотел допускать.

Между тем Верагут и Буркгардт ждали Альберта в мастерской, Буркгардт с нескрываемым любопытством, художник в нервном смущении. Мимолетное радостное настроение и разговорчивость разом оставили его, когда он узнал о приезде Альберта.

-- Разве он приехал неожиданно? -- спросил Отто.

-- Нет, не думаю. Я знал, что он должен приехать на этих днях.

Верагут достал какую-то коробку и вытащил из нее несколько старых фотографий. Он нашел среди них карточку мальчика и поставил ее, сравнивая, рядом с карточкой Пьера.

-- Это Альберт в том самом возрасте, в каком теперь маленький. Ты помнишь его?

-- О, очень хорошо. Карточка очень похожа. Он сильно напоминает мать.

-- Больше, чем Пьер?

-- Да, гораздо больше. Пьер не похож ни на тебя, ни на мать. А вот и он. Или это Альберт? Нет, не может быть.

По плитам и подстилке перед дверью зазвучали легкие шажки, ручку двери медленно, как будто нерешительно нажали, и в комнату вошел Пьер. Он быстро оглядел обоих своим вопросительно-ласковым взглядом, как бы спрашивая, рады ли ему.

-- Где же Альберт? -- спросил художник.

-- У мамы. Они играют в четыре руки.

-- Ах, вот как, они играют.

-- Ты чем-нибудь недоволен, папа?

-- Нет, Пьер, это хорошо, что ты пришел. Расскажи нам что-нибудь!

Мальчик увидел карточки и схватил их.

-- О, это я! А это? Неужели это Альберт?

-- Да, это Альберт. Такой он был, когда ему было ровно столько лет, сколько теперь тебе.

-- Тогда меня еще не было на свете. А теперь он уже большой, и Роберт говорит ему уже "господин Альберт".

-- А тебе тоже хотелось бы быть большим?

-- Да, пожалуй. Большие могут иметь лошадей и путешествовать, и я хотел бы тоже. И тогда меня никто не посмел бы называть мальчуганом и трепать по щеке. Но все-таки мне не хочется вырасти. Старые люди часто бывают такие неприятные. Альберт тоже сделался уже совсем другой. А когда старые люди делаются все

старше, под конец они умирают. Я хотел бы лучше остаться таким, как я теперь, а иногда мне хотелось бы уметь летать и вместе с птицами летать высоко над деревьями и подниматься до самых облаков. Там я смеялся бы над всеми людьми.

-- И надо мной тоже, Пьер?

-- Иногда, папа. Старые люди все бывают иногда такие смешные. Мама еще не так. Мама лежит иногда в саду в качалке и ничего не делает, а только смотрит на траву, и руки у нее висят вниз, и она такая спокойная и немножко грустная. Это хорошо, когда не надо вечно что-нибудь делать.

-- Разве тебе не хотелось бы быть чем-нибудь? Архитектором, или садовником, или, может быть, художником?

-- Нет, мне совсем не хочется. Садовник у нас уже есть, и дом у меня тоже есть. Мне хотелось бы уметь совсем другие вещи. Я хотел бы понимать, что говорят друг другу красношейки. И мне хотелось бы когда-нибудь увидеть, как деревья пьют корнями воду, и как это они ухитряются вырасти такими большими. Я думаю, этого никто не знает хорошенько. Учитель знает массу вещей, но все такое скучное.

Он взобрался на колени к Отто Буркгардту и играл пряжкой его пояса.

-- Многих вещей нельзя знать, -- ласково сказал Буркгардт.-- Многое можно только видеть, и надо быть довольным тем, что это так интересно. Если ты когда-нибудь приедешь ко мне в Индию, тебе придется много дней ехать на большом корабле, а перед кораблем будут плавать маленькие рыбки; у этих рыбок есть маленькие прозрачные крылья, и они умеют летать. А иногда прилетают и птицы, они прилетают издалека, с незнакомых островов, и очень устают; они садятся на корабль и удивляются, что по морю куда-то едет столько чужих людей. Им тоже очень хотелось бы понимать нас и спросить нас, откуда мы и как нас зовут, но это невозможно, и вот люди и птицы смотрят друг другу в глаза и кивают головой, а когда птицы отдохнут, они встряхиваются и опять улетают за море.

-- И никто не знает, как их зовут?

-- Нет, отчего же. Но это имена, которые им дали люди, а как они сами называют друг друга, нельзя знать.

-- Как дядя Буркгардт славно рассказывает, папа! Мне тоже хотелось бы иметь друга. Альберт уже большой. Большинство людей совсем не понимает, что им говоришь, но дядя Буркгардт понимает меня сейчас.

Пришла горничная за мальчиком. Пора было ужинать, и друзья направились в дом. Верагут был молчалив и расстроен. В столовой навстречу ему вышел сын и протянул ему руку.

-- Здравствуй, папа.

-- Здравствуй, Альберт. Как тебе ездилось?

-- Спасибо, хорошо. Здравствуйте, господин Буркгардт.

Молодой человек был очень холоден и корректен. Он повел мать к столу. За ужином разговор поддерживали почти исключительно Буркгардт и хозяйка дома. Речь зашла о музыке.

-- Позвольте спросить, -- обратился Буркгардт к Альберту,-- какой род музыки вы особенно любите? Я должен сказать, что я совсем не в курсе дела и знаю современных музыкантов только по именам.

Юноша поднял глаза и вежливо ответил:

-- Самых новых я знаю тоже только понаслышке. Я не принадлежу ни к какому направлению и люблю всякую музыку, если она хороша. Больше всего Баха, Глюка и Бетховена.

-- О, классики! Из них мы в наше время знали хорошенько, собственно, только Бетховена. Глюка мы совсем не знали. Мы все, надо вам знать, горой стояли за

Вагнера. Помнишь, Иоганн, как мы в первый раз слушали "Тристана"? Мы были как пьяные!

Верагут невесело улыбнулся.

-- Старая школа! -- несколько едко сказал он.-- Вагнер уже отжил. Или нет, Альберт?

-- О, напротив, его играют во всех театрах. Но я об этом не могу судить.

-- Вы не любите Вагнера?

-- Я знаю его слишком мало, господин Буркгардт. Я очень редко бываю в театре. Меня интересует только чистая музыка, не опера.

-- Ну, а вступление к Мейстерзингерам? Его-то вы наверно знаете. Оно тоже никуда не годится?

Альберт закусил губы и не сразу ответил.

-- Я, право, не могу судить об этом. Это -- как бы сказать? -- романтическая музыка, а к ней у меня нет интереса.

Верагут сделал гримасу.

-- Хочешь вина? -- спросил он, чтобы переменить разговор.

-- Да, спасибо.

-- А ты, Альберт? Красного?

-- Спасибо, папа, лучше не надо.

-- Ты что, записался в общество трезвости?

-- Нет, ничего подобного. Но вино мне вредно, и я хотел бы лучше отказаться от него.

-- Ну, как хочешь. А мы с тобой, Отто, давай чокнемся. За твое здоровье!

Он одним глотком отпил половину стакана.

Альберт продолжал играть роль благовоспитанного юноши, который хотя и имеет вполне определенные взгляды, но скромно держит их про себя и предоставляет слово старшим, не для того, чтобы чему-нибудь научиться, а потому, что так спокойнее. Роль подходила к нему плохо, так что и ему скоро стало очень не по себе. Он ни в каком случае не хотел дать отцу, которого привык по возможности игнорировать, повода к объяснениям.

Буркгардт молча наблюдал, и таким образом не было никого, кто нарушил бы ледяное молчание и оживил иссякший разговор. Все торопились покончить с едой, услужливо передавали друг другу блюда, смущенно играли десертными ложками и тоскливо ждали момента, когда можно будет встать и разойтись. Лишь в эту минуту Отто Буркгардт всем существом почувствовал одиночество и безнадежный холод, в котором застыли и хирели брак и жизнь его друга. Он бросил на него беглый взгляд: художник сидел с вялым лицом, угрюмо опустил глаза в почти непечатую тарелку, и во взоре его, на секунду скрестившемся с взглядом друга, Отто прочел мольбу и стыд за свою разоблаченную тайну.

Это было печальное зрелище. Безжалостное молчание, неловкая холодность и тоскливая принужденность всего общества, казалось, громко возвещали позор Верагута. В этот момент Отто понял, что каждый день его дальнейшего пребывания здесь был бы только гнусным продлением этого унижительного положения свидетеля и пыткой для друга, который с отвращением соблюдал еще формальности и не находил в себе больше сил и охоты прикрасить свое несчастье перед наблюдателем. Надо было поскорей положить этому конец.

Как только фрау Верагут поднялась, ее муж отодвинул свое кресло.

-- Я так устал, что прошу извинить меня. Не беспокойтесь!

Он вышел, забыв закрыть за собой дверь. Отто слышал, как он медленно, тяжелыми шагами, прошел через сени и спустился по скрипучей лестнице.

Буркгардт закрыл дверь и проводил хозяйку в гостиную, где стоял еще открытый рояль и вечерний ветер играл листьями разложенных нот.

-- Я хотел попросить вас что-нибудь сыграть,-- смущенно сказал он.-- Но мне кажется, что ваш муж не совсем здоров, он целый день работал на солнце. Если позволите, я еще на часок составлю ему компанию.

Фрау Верагут серьезно кивнула головой, не делая попытки задержать его. Он простился и вышел. Альберт проводил его до лестницы.

## V.

Сумерки уже сгущались, когда Отто Буркгардт вышел из освещенного большим канделябром подъезда дома и простился с Альбертом. Под каштанами он остановился, жадно вдыхая слегка прохладный ароматный вечерний воздух, и вытер со лба крупные капли пота. Если он мог сколько-нибудь помочь другу, он должен был это сделать теперь.

В мастерской света не было, и он не нашел художника ни в рабочей комнате, ни в соседних с ней. Он открыл выходящую на пруд дверь и тихо обошел вокруг дома. Художник сидел в плетеном кресле, в котором сегодня писал его, подперев голову руками и спрятав в них лицо. Он сидел так неподвижно, как будто спал.

-- Иоганн! -- тихо окликнул Буркгардт, подходя к нему и кладя руку на его склоненную голову.

Ответа не было. Он продолжал стоять в молчаливом ожидании, глядя короткие, жесткие волосы погруженного в свое горе, сломленного усталостью друга. В деревьях шелестел ветер, все вокруг дышало вечерней тишиной и миром. Прошло несколько минут. Вдруг со стороны дома, прорезав сумрак, донеслась широкая волна звуков, полный, долгий аккорд, за ним другой. Это был первый такт фортепианной сонаты в четыре руки.

Художник поднял голову, мягко стряхнул с себя руку друга и встал. Он молча посмотрел на Буркгардта усталыми, сухими глазами, попытался было улыбнуться, но сейчас же оставил это, и его застывшие черты выразили изнеможение.

-- Войдем, -- сказал он с таким жестом, как будто хотел отстранить от себя лившуюся из дома музыку.

Он пошел вперед. Перед дверью в мастерскую он остановился.

-- Я думаю, ты пробудешь у нас еще недолго?

"Как он все чувствует",-- подумал Буркгардт. Он ровным, спокойным голосом сказал:

-- Один день не играет роли. Я думаю ехать послезавтра.

Верагут нащупал выключатели. С тихим металлическим звуком ослепительно засияли все огни мастерской.

-- Тогда мы разопьем еще бутылку.

Он позвонил Роберта и отдал распоряжение. Посреди мастерской стоял новый портрет Буркгардта, почти оконченный. Они остановились перед ним и смотрели на него, пока Роберт придвигал стол и стулья, приносил вино и лед, ставил на стол сигары и пепельницы.

-- Хорошо, Роберт, можете идти. Завтра будить не надо. Оставьте нас теперь одних!

Они сели и чокнулись. Художник беспокойно задвигался в кресле, опять встал и погасил половину огней. Затем он снова тяжело опустился на стул.

-- Портрет еще не совсем готов,-- начал он.-- Возьми же сигару! Он был бы недурен, но, в конце концов, это не так важно. И ведь мы еще увидимся.

Он выбрал себе сигару, неторопливо обрезал кончик, нервно повертел в руках и опять положил.

-- Ты не особенно удачно попал на этот раз, Отто. Мне очень жаль.



Голос его вдруг оборвался, он поник головой, схватил руки Буркгардта и крепко сжал их в своих.

-- Теперь ты знаешь все,-- устало простонал он, и на руки Отто упало несколько капель слёз. Но он не хотел распускаться. Он опять выпрямился и, стараясь придать своему голосу спокойствие, смущенно сказал:

-- Извини! Ну, что ж мы не пьем? И ты не куришь?

Буркгардт взял сигару.

-- Бедняга!

Они пили и курили в мирном молчании, смотрели, как переливается в граненых бокалах и тепло сияет в золотистом вине свет, наблюдали за голубым дымом, колебавшимся над их головами и сплетавшимся в причудливые нити, и от времени до времени бросали друг на друга открытые, красноречивые взгляды, почти не нуждавшиеся больше в словах. Все уже как будто было сказано.

Ночной мотылек жужжа влетел в мастерскую, три-четыре раза сильно, с глухим стуком, ударился о стены, затем, оглушенный, бархатным серым треугольником застыл на потолке.

-- Поедешь осенью со мной в Индию? -- наконец, нерешительно спросил Буркгардт.

Опять наступило долгое молчание. Бабочка начала медленно двигаться. Серая и маленькая, она ползла вперед, точно вдруг разучившись летать.

-- Может быть, -- сказал Верагут.-- Может быть. Нам надо еще поговорить.

-- Да, Иоганн. Я не хочу тебя мучить. Но немножко ты мне должен еще рассказать. Я никогда не ожидал, что у тебя с женой все опять наладится, но...

-- У нас не ладилось с самого начала!

-- Да. Но все-таки я не думал, что зайдет так далеко. Так не может продолжаться. Ты гибнешь.

Верагут хрипло засмеялся.

-- Я не гибну, дружище. В сентябре яставляю во Франкфурте двенадцать новых картин.

-- Это великолепно. Но сколько времени это может идти так? Ведь это нелепость... Скажи, Иоганн, почему ты не разошелся с женой?

-- Это не так просто... Я расскажу тебе. Будет лучше, если ты узнаешь все по порядку.

Он выпил глоток вина и согнулся на своем стуле. Отто отодвинул свой от стола.

-- Что у меня с женой с самого начала многое не клеилось, ты знаешь. Несколько лет все шло кое-как, ни хорошо, ни плохо, и, может быть, тогда еще можно было многое спасти. Но я слишком мало мог скрыть свое разочарование и все снова требовал от Адели именно того, чего она не могла дать. Размаха в ней не было никогда; она была серьезна и тяжела на подъем, я мог бы знать это и раньше. Она никогда не могла посмотреть на что-нибудь сквозь пальцы или отнестись к чему-нибудь тяжелому юмористически или легкомысленно. Моим притязаниям и настроениям, моей бурной тоске и конечному разочарованию она могла противопоставить только молчание и терпение, трогательное, тихое, геройское терпение, которое меня часто умиляло, но не могло помочь ни ей, ни мне. Когда я сердился и был недоволен, она молчала и страдала, а когда сейчас же после этого я приходил с жаждой примирения и взаимного понимания, просил у нее прощения или пытался заразить ее своим радостным настроением, из этого ничего не выходило, она молчала и тогда и все больше замыкалась в себе. Она не могла и не хотела изменить своей природы и оставалась все тем же верным, тяжеловесным существом. Когда я был с ней, она молчала уклончиво и боязливо, встречала вспышки гнева и веселые настроения с одинаковым спокойствием, а когда я уходил, она играла для себя самой на рояле и думала о том времени, когда еще

была девушкой. Таким образом, я становился все более и более неправ перед ней, и, в конце концов, мне уже стало нечего давать, нечем делиться. Я начал становиться прилежен и мало-помалу научился прятаться за работой, как за крепостной стеной.

Он видимо усиливался оставаться спокойным. Он хотел рассказывать, а не жаловаться, но за словами все-таки чувствовалась жалоба, жалоба на погубленную жизнь, на разочарование в ожиданиях молодости и присуждение к пожизненному половинчатому, безрадостному, противоречащему самой сущности его натуры существованию.

-- Уже тогда я иногда подумывал о том, чтобы расторгнуть брак. Но это было не так просто. Я привык к тихой жизни и работе, и мысль о судах и адвокатах, о перемене всех маленьких ежедневных житейских привычек пугала меня. Если бы тогда на моем пути встала новая любовь, я решился бы легко. Но оказалось, что и моя собственная натура тяжеловеснее, чем я думал. Я с чувством грустной зависти смотрел на хорошеньких молодых девушек и даже влюблялся в них, но все это было недостаточно глубоко, и я все больше и больше убеждался, что не могу больше отдаться любви так, как своему искусству. Вся жажда самозабвения, все желания и потребности были устремлены в сторону его, и, действительно, за все эти годы в мою жизнь не вошел ни один новый человек, ни одна женщина, ни один друг. Ты ведь понимаешь, что мне пришлось бы начать каждую дружбу с признания в своем позоре.

-- Позоре?! -- тихо, тоном упрёка, сказал Буркгардт.

-- Конечно! Я ощущал все это, как позор, уже тогда, и так оно осталось и до сих пор. Быть несчастным -- позор. Позор -- не смеет никому показать свою жизнь, быть принужденным что-то прятать и скрывать. Но довольно об этом! Слушай дальше.

Он мрачно опустил глаза на свой стакан с вином, бросил погасшую сигару и продолжал:

-- Между тем Альберт подрастал. Мы оба очень любили его, разговоры и заботы о нем соединяли нас. Только когда ему исполнилось семь лет, я начал ревновать и бороться за него -- точь-в-точь так, как теперь борюсь за Пьера! Я вдруг увидел, что мальчик мне необходим, и в течение нескольких лет я с постоянным страхом следил, как он понемножку становился холоднее ко мне и все больше и больше переходил на сторону матери.

Затем он серьезно заболел, и в эту пору тревоги за его здоровье и жизнь все остальное на время исчезло, и мы жили одно время в такой согласии, как никогда прежде. Тогда-то и родился Пьер.

С тех пор, как Пьер появился на свет, ему принадлежит вся любовь, на какую я только способен. Адель опять ускользнула от меня, Альберт после своего выздоровления все теснее примыкал к матери -- я допустил все это. Он стал ее наперсником и мало-помалу моим врагом, пока я не увидел себя вынужденным удалить его из дому. Я отказался от всего, я сделался беден и непритязателен, я отучил себя командовать в доме и выражать свое неудовольствие и примирился с тем, что в своем собственном доме играл роль лишь терпимого гостя. Я хотел спасти для себя только одно: моего маленького Пьера, а когда совместная жизнь с Альбертом и весь строй жизни в доме стали невыносимы, я предложил Адели развод.

Я хотел оставить Пьера себе. Все остальное я предоставлял ей: Альберта, Росгальду и половину моих доходов, даже больше. Она не захотела. Она готова была согласиться на развод и брать от меня лишь самое необходимое, но не расставаться с Пьером. Это была наша последняя ссора. Еще раз я попробовал все, чтобы спасти себе остаток счастья, я просил и обещал, кланялся и унижался, грозил

и плакал и, наконец, бесновался, но все напрасно. Она даже соглашалась отдать Альберта. Вдруг оказалось, что эта тихая, терпеливая женщина не намерена уступить ни на йоту; она очень хорошо сознавала свою власть и была сильнее меня. В то время я ее прямо-таки ненавидел, и частица этого осталась и до сих пор.

Тогда я позвал каменщика и пристроил себе вот эту квартирку; здесь я с тех пор и живу, и все идет так, как ты видел.

Буркгардт слушал задумчиво, не прерывая его даже в те моменты, когда Верагут, казалось, ждал, даже желал этого.

-- Я рад, -- осторожно сказал он, -- что ты сам отдаешь себе во всем этом такой ясный отчет. Приблизительно так я себе и представлял. Поговорим об этом, как следует, раз мы уж начали! С тех пор как я здесь, я ждал этой минуты так же, как и ты. Предположи, что у тебя где-нибудь неприятный нарыв, который тебя мучит и которого ты немножко стыдишься. Я знаю теперь про него, и тебе уже легче, что тебе не надо больше ничего скрывать. Но мы не должны удовольствоваться этим, мы должны посмотреть, нельзя ли его вскрыть и залечить.

Художник посмотрел на него, тяжело покачал головой и улыбнулся.

-- Залечить? Такие вещи не залечиваются. Но вскрыть ты можешь!

Буркгардт кивнул головой. Да, он вскрыет этот нарыв, он не хочет, чтобы этот час кончился ничем.

-- В твоём рассказе одно мне осталось неясным, -- задумчиво сказал он.-- Ты говорить, что не развелся с женой из-за Пьера. Но еще вопрос, не мог ли бы ты принудить ее отдать тебе Пьера. Если бы вы развелись по суду, одного из детей непременно присудили бы тебе. Неужели ты никогда не думал об этом?

-- Нет, Отто, я никогда не думал, что судья своей премудростью может исправить мои ошибки и упущения. Это мне не поможет. Раз моего личного влияния недостаточно, чтобы заставить мою жену отказаться от мальчика, мне остается только одно: ждать, за кого сам Пьер выскажется со временем.

-- Значит, все дело только в Пьере. Если бы его не было, ты, несомненно, давно развелся бы с женой и мог бы еще найти счастье в жизни, во всяком случае, вел бы разумную, свободную, ничем неомраченную жизнь. Вместо того ты запутался в сети компромиссов, жертв и мелких уловок, в которых такой человек, как ты, должен задохнуться.

Верагут выпил залпом стакан вина.

-- Ты все твердишь: задохнуться, погибнуть! Ты ведь видишь, что я живу и работаю, и черт меня побери, если я дам себя сломить.

Отто не обратил внимания на его раздражение. С тихой настойчивостью он продолжал:

-- Прости, это не совсем так. Ты человек с недюжинными силами, иначе ты вообще не мог бы выдержать этой жизни так долго. Сколько вреда она принесла тебе и как тебя состарила, ты чувствуешь сам, и если ты не хочешь этого признать передо мной, то только из тщеславия. Я верю своим собственным глазам больше, чем тебе, и я вижу, что твое положение очень скверно. Твоя работа поддерживает тебя, но она для тебя скорее наркотическое средство, чем радость. Половина твоих лучших сил уходит на лишения и на мелкую ежедневную борьбу. О счастье в этих условиях нечего и говорить; в лучшем случае ты можешь достигнуть того, что примиришься со своей судьбой. Ну, а для этого ты в моих глазах стоишь слитком высоко, дружище!

-- Примирюсь с судьбой? Возможно. Что ж, я не буду исключением. О ком можно сказать, что он счастлив?

-- Счастлив тот, кто надеется! -- с жаром воскликнул Буркгардт. -- А на что можешь надеяться ты? Не на внешние же успехи, почести и деньги,-- их у тебя больше, чем достаточно. Ведь ты совсем забыл, что такое жизнь и радость! Ты

доволен, потому что ни на что не надеешься! Я могу это понять, пожалуй, но это отвратительное состояние, Иоганн, это злокачественный нарыв, а кто, имея такой нарыв, не хочет его вскрыть, тот трус.

Он разгорячился и в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате, и в то время как он, напрягая все силы, преследовал свой план, из глубины памяти перед ним вставало лицо Верагута в юности, и в воображении мелькала подобная этой сцена из времен их отрочества. Он поднял глаза и посмотрел на друга; он сидел, согнувшись, и смотрел вниз. В нем не было ничего, что напоминало бы то юношеское лицо. Отто научно назвал его трусом, нарочно постарался задеть его когда-то такое раздражительное самолюбие, а он сидел и не оборонялся!

-- Ну, что ж ты остановился? -- лишь в горьком сознании своей слабости воскликнул он.-- Тебе нечего меня щадить. Ты видел, в какой клетке я живу, ты можешь, не боясь, делать намеки и укорять меня в моем позоре. Я не обороняюсь, я даже не сержусь.

Отто остановился перед ним. Ему было бесконечно жаль его, но он преодолел себя и резко сказал:

-- Но ты должен сердиться! Ты должен вышвырнуть меня и отказаться от дружбы со мной или же сознаться, что я прав.

Художник тоже поднялся, но вяло и тяжело.

-- Ну, хорошо, если тебе это так важно, -- ты прав, -- устало сказал он.-- Ты переоценил мои силы, я уж больше не молод и не легко обижаюсь. И у меня не так много друзей, чтобы я мог сорить ими. У меня только ты один и есть. Садись же и выпей еще стакан вина, оно стоит того. В Индии ты такого не достанешь и, может быть, ты найдешь там также немного таких друзей, которые захотят терпеть твоё упрямство.

Буркгардт слегка ударил его по плечу и почти с досадой сказал:

-- Послушай, не будем сентиментальничать -- теперь не время! Скажи мне, в чем ты можешь упрекнуть меня, и будем продолжать.

-- О, мне не в чем упрекнуть тебя! Ты вполне безупречен, Отто, в этом не может быть никакого сомнения. Вот уж скоро двадцать лет, как ты смотришь, как я иду ко дну, ты с самыми дружескими чувствами и, может быть, с сожалением видишь, как я мало-помалу исчезаю в болоте, и ты никогда не сказал ни слова, ни разу не унизил меня предложением своей помощи. Ты видел, как я долгие годы держал у себя цианистый калий, и с благородным удовлетворением заметил, что я так и не проглотил его и, в конце концов, выбросил. А теперь, когда я погрузился в тину так глубоко, что уж не могу и выбраться, теперь ты явился со своими упреками и наставлениями...

Он безнадежно впери́л в пространство покрасневшие, воспаленные глаза, и только теперь, когда Буркгардт хотел налить себе новый стакан вина и не нашел в бутылке ничего, он заметил, что Верагут за короткое время опорожнил один всю бутылку. Художник проследил взгляд друга и резко засмеялся.

-- Ах, извини!-- запальчиво воскликнул он.-- Да, я немножко пьян, не забудь поставить мне в счет и это. От времени до времени со мной случается, что я нечаянно немножко напиваюсь -- так, знаешь, для возбуждения...

Он тяжело положил другу на плечи обе руки и жалобно, вдруг размякшим высоким голосом, сказал:

-- Видишь ли, дружище, без цианистого калия и без вина и всего этого можно было бы обойтись, если бы кто-нибудь захотел помочь мне немножко! Скажи, почему ты допустил до того, что я должен, как нищий, просить о крупнице снисхождения и любви? Адель не снесла меня, Альберт отпал от меня, Пьер тоже со временем бросит меня, -- а ты стоял рядом и смотрел. Неужели же ты ничего не мог сделать? Неужели не мог мне помочь?

Голос художника оборвался, и он опять упал на свой стул. Буркгардт был мертвенно бледен. Дело обстояло гораздо хуже, чем он думал, раз несколько стаканов вина могли довести этого гордого, закаленного человека до циничного признания в своем тайном несчастье и позоре!

Он наклонился к Верагуту и, утешая его, точно ребенка, тихо шептал ему на ухо:

-- Я помогу тебе, Иоганн, верь мне, я помогу тебе. Я был осел, я был так глуп! Но все еще будет хорошо, положишься на меня!

Он вспомнил редкие случаи из их молодости, когда его друг в состоянии величайшего возбуждения терял власть над собой. С необыкновенной отчетливостью предстал перед ним один из таких моментов. Иоганн тогда часто встречался с одной хорошенькой ученицей художественной школы. Отто пренебрежительно отозвался о ней, и Верагут в самой бурной форме отказался от дружбы с ним. Тогда художник тоже разгорячился несоответственно выпитому количеству вина, и тогда тоже глаза у него покраснели, а голос ослабел. Этот странный возврат забытых черточек из казавшегося безоблачным прошлого сильно взволновал друга, и снова, как тогда, его ужаснула вдруг раскрывшаяся пропасть внутреннего одиночества и душевного самомучительства в жизни Верагута. Это и была, несомненно, та тайна, о которой Иоганн часто говорил намеками, и скрытое существование которой он предполагал в душе каждого большого художника. Так вот откуда бралось это жутко-ненасытное стремление творить и все снова и снова постигать мир своими чувствами и преодолевать его. Отсюда же происходила, в конечном счете, и та странная грусть, которой часто преисполняли сосредоточенного зрителя его крупные произведения.

Отто казалось, что до этой минуты он не понимал своего друга. Теперь он глубоко заглянул в темный колодезь, из которого душа Иоганна черпала силы и страдания. И в то же время он испытывал глубокую отраду от сознания, что это ему, старому другу, открылся страдалец, его он обвинял, его просил о помощи.

Верагут как будто не помнил, что наговорил. Он вдруг затих, точно набесновавшийся ребенок, долго сидел спокойно и, наконец, ясным голосом сказал:

-- На этот раз тебе не везет со мной. Все это оттого, что я последнее время не работал, как следует. Просто нервы расстроились. Я не переношу хорошей погоды.

И когда Буркгардт хотел помешать ему откупорить вторую бутылку, он сказал:

-- Я все равно теперь не мог бы заснуть. Бог его знает, с чего это я так разнервничался! Ну, давай покутим еще немного, ты раньше не был таким недотрогой. Ах, это ты из-за моих нервов! Я уж справлюсь с ними, не впервые. Я теперь буду каждое утро приниматься за работу в шесть часов, а вечером час ездить верхом.

Друзья беседовали до полуночи. Иоганн перебирал воспоминания старых времен, Отто слушал и со смесью отвращения и удовольствия видел, как разверстая темная бездна, в которую он только что заглянул, снова затягивается блестящей, радостно сверкающей поверхностью.

## VI.

На другой день Буркгардт ждал встречи с художником не без смущения. Он был уверен, что найдет друга изменившимся и вместо вчерашнего возбуждения наткнется на насмешливую холодность и прячущийся за враждебностью стыд. Вместо этого Иоганн встретил его с тихой серьезностью.

-- Итак, ты завтра уезжаешь, -- ласково сказал он. -- Это хорошо, и я благодарю тебя за все. Я не забыл ничего из вчерашнего; нам надо еще поговорить.

Отто нерешительно согласился.

-- Пожалуй; но мне не хотелось бы напрасно волновать тебя. Мы вчера, может быть, растревожили слишком многое. Зачем только мы ждали до последней минуты!

Они завтракали в мастерской.

-- Нет, это хорошо, -- решительно сказал Иоганн.-- Очень хорошо. Я провел бессонную ночь и обдумал все еще раз. Да, ты растревожил многое, чуть ли не больше, чем я мог перенести. Ты должен принять во внимание, что все эти годы у меня не было никого, с кем я мог бы поговорить. Но теперь я должен произвести основательную чистку, иначе я, в самом деле, трус, каким ты меня вчера назвал.

-- Тебе это было больно? Забудь, не вспоминай!

-- Нет, я думаю, ты был почти прав. Мне хотелось бы сегодня провести с тобой хороший, радостный день; поедем после обеда кататься, я покажу тебе окрестности. Но прежде надо привести это дело в порядок. Вчера все это обрушилось на меня так внезапно, что я совсем растерялся. Но теперь я обдумал все. Мне кажется, теперь я понимаю, что ты хотел мне сказать.

Он говорил так спокойно и дружелюбно, что опасения Буркгардта рассеялись.

-- Если ты меня понял, значит, все хорошо, и нам незачем начинать сначала. Ты рассказал мне, как все произошло и как обстоит теперь. Итак, ты не разводишься с женой и миришься со своей семейной жизнью и со всем своим теперешним положением только потому, что не хочешь расстаться с Пьером. Ведь это так?

-- Да, именно так.

-- Ну, а как ты себе представляешь дальнейшее? Мне кажется, ты вчера намекнул, что боишься потерять со временем и Пьера. Или нет?

Верагуг горестно вздохнул и подпер лоб рукой, но ответил в том же тоне:

-- Может быть, это и так. Это слабое место. По-твоему я должен отказаться от мальчика?

-- Да, тысячу раз да! Он будет стоять тебе долгих лет борьбы с женой, которая навряд ли уступит его тебе.

-- Это возможно. Но видишь ли, Отто, он -- последнее, что у меня есть! Я сижу среди обломков, и если бы я сегодня умер, то, кроме тебя, по этому поводу взволновались бы самое большее несколько газетных писак. Я -- нищий, но у меня есть этот ребенок, у меня все-таки еще есть это милое маленькое существо, для которого я могу жить и которое могу любить, для которого я страдаю и с которым забываюсь в хорошие минуты. Представь себе это хорошенько! И это я должен отдать!

-- Это нелегко, Иоганн. Это дьявольски трудно! Но я не знаю другого пути. Смотри, ты не имеешь понятия о том, что делается на белом свете, ты зарылся в свою работу и не видишь ничего, кроме нее и своего неудачного брака. Сделай этот шаг и попробуй отбросить все, и ты вдруг увидишь, что мир снова ждет тебя с тысячью своих чудес. Ты с давних пор живешь с мертвецами и утратил связь с жизнью. Ты любишь Пьера, и, несомненно, он очаровательный ребенок; но ведь это еще не все. Отбрось на минуту все мягкие чувства и подумай, в самом ли деле ты нужен мальчику!

-- Нужен ли я?..

-- Да. То, что ты ему можешь дать -- любовь, нежность, чувство,-- все это вещи, в которых ребенок большею частью нуждается меньше, чем мы, старики, думаем. А зато ребенок растет в доме, где отец и мать едва разговаривают друг с другом, где они ревнуют его друг к другу! Он не воспитывается на примере здоровой, счастливой семейной жизни, он развит не по летам и вырастет чудачком. И в конце концов, прости, ведь в один прекрасный день ему все-таки придется выбрать между тобой и матерью. Неужели ты этого не видишь?

-- Может быть, ты прав. Даже наверно прав. Но у меня здесь кончается мышление. Я люблю этого ребенка, и я цепляюсь за эту любовь, потому что уже давно не знаю другого тепла и света. Может быть, через несколько лет он бросит меня, может быть, обманет мои ожидания, может быть, даже возненавидит, как ненавидит Альберт, который в четырнадцать лет как-то бросил в меня столовым ножом. Но мне все-таки остается то, что эти несколько лет я смогу пробыть с ним и любить его, смогу брать его маленькие ручки в свои и слушать его звонкий, как у птички, голосок. Скажи: должен ли я отдать это? Должен ли я?

Буркгардт страдальчески повел плечами и наморщил лоб.

-- Ты должен, Иоганн, -- тихо сказал он. -- Я думаю, что ты должен. Не непременно сегодня, но скоро. Ты должен бросить все, что у тебя есть, и смыть с себя свое прошлое, иначе ты никогда больше не сможешь смотреть на мир ясно и свободно. Делай, что хочешь, и, если ты не можешь сделать этого шага, оставайся здесь и продолжай эту жизнь -- я и тогда не оставлю тебя, и ты всегда можешь рассчитывать на меня, ты это знаешь. Но мне было бы это очень жаль.

-- Посоветуй мне! Я точно в потемках.

-- Я посоветую тебе. Теперь июль; осенью я поеду обратно в Индию. Но прежде я еще раз заеду к тебе, и я надеюсь, что у тебя уже все будет готово к отъезду. Если твое решение будет уже принято, и ты скажешь да, тем лучше! Если же ты не сможешь решить окончательно, поезжай со мной на год, хоть на полгода, лишь бы вырваться из этой атмосферы. Ты можешь у меня писать и ездить верхом, можешь стрелять тигров или влюбляться в малаек--между ними есть хорошенькие, -- главное то, что ты будешь далеко отсюда и сможешь испытать, не лучше ли жить так. Что ты об этом думаешь?

Художник слушал, закрыв глаза и покачивая своей большой взъерошенной головой с бледным лицом и поджатыми губами.

-- Спасибо,-- с легкой улыбкой сказал он,-- спасибо, это очень мило с твоей стороны. Осенью я скажу тебе, поеду ли я с тобой или нет. Пожалуйста, оставь мне фотографии.

-- С удовольствием... Но... разве ты не можешь решить это завтра или послезавтра? Это было бы лучше для тебя.

Верагут встал.

-- Нет, я не могу. Кто знает, что может случиться за это время! Вот уже сколько лет я не расставался с Пьером больше, чем на три--четыре недели. Я думаю, что поеду с тобой, но теперь я не хочу говорить ничего, в чем мог бы раскаяться.

-- Ну, пусть будет так! Я буду всегда сообщать тебе, где меня можно найти. И если в один прекрасный день ты телеграфируешь мне три слова, что ты едешь, то тебе не надо будет пошевеливать пальцем. Я устрою все. Отсюда ты возьмешь только белье и рисовальные принадлежности, но в достаточном количестве, об остальном позабочусь я.

Верагут молча обнял его.

-- Ты помог мне, Отто, я этого никогда не забуду. А теперь я велю заложить коляску, мы не будем обедать дома. И я собираюсь сегодня ничего не делать и хорошенько насладиться чудным днем, как, помнишь, когда-то, во время летних каникул! Мы покатаемся, взглянем на несколько хорошеньких деревушек и поваляемся в лесу, будем есть форели и пить из толстых стаканов доброе деревенское вино. Что за великолепная погода сегодня!

-- Да такая погода стоит уже дней десять, -- засмеялся Буркгардт. Верагут засмеялся тоже.

-- Ах, мне кажется, что солнце давно уже не светило так!

## VII.

После отъезда Буркгардта художника охватило странное чувство одиночества. То самое одиночество, в котором он прожил годы и к которому за такое долгое время привык и сделался почти нечувствителен, вдруг подступило к нему, как новый, почти неведомый враг, и сомкнулось над ним непроницаемой, удушливой пеленой. Вместе с тем он чувствовал себя больше, чем когда-либо, отрезанным от семьи, даже от Пьера. Он этого не понимал, но это происходило от того, что он впервые высказался о своих отношениях к семье.

Он познакомился даже с новым для него, неприятным, унижительным чувством скуки. До сих пор Верагут вел неестественную, но выдержанную жизнь добровольного отшельника, которого внешний мир больше не интересует, и который не столько живет, сколько влачит существование. Посещение друга пробило брешь в его келье пустытника; сквозь тысячи щелей сверкала, звенела и благоухала жизнь, старые чары были нарушены, и каждый зов извне отзывался в душе пробудившегося с чрезмерной, почти болезненной силой.

Он яростно набросился на работу. Почти одновременно он начал две большие композиции; он вставал на рассвете и начинал день холодной ванной, работал без перерыва до полудня, затем коротким отдыхом за кофе и сигарой восстанавливал свои силы, а ночью просыпался иногда от сердцебиения или головной боли. Но как ни принуждал и ни насиловал он себя, в сознании его, под тонкой пленкой, непрерывно трепетало ощущение, что где-то открыта дверь, и что один решительный шаг может во всякое время вывести его на свободу.

Он не думал об этом, непрерывным напряжением он заглушал все мысли. Он чувствовал: да, я могу уйти каждую минуту, дверь открыта, цепи можно порвать, но для этого надо принять тяжелое решение, решиться на трудную жертву! Поэтому лучше не думать об этом, лучше не думать! То решение, которого Буркгардт ждал от него, и к которому он сам втайне, быть может, уже склонялся, засело в его душе, как пуля в теле раненого; вопрос был лишь в том, выйдет ли она вместе с гноем наружу, или же, постепенно обволакиваясь, крепко прирастет внутри. Что-то нарывало, было больно, но еще недостаточно больно: еще слишком сильна была боль, которой он страшился от требуемой жертвы. Таким образом, он ничего не предпринимал, прислушивался, как горит скрытая рана, и втайне с отчаянным любопытством ждал, чем все это кончится.

Среди всего этого смятения он писал большую картину, с планом которой долго носился и которая теперь вдруг сильно захватила его. Мысль о ней появилась у него еще несколько лет тому назад и вначале увлекла его, но затем замысел стал казаться ему все более пустым и аллегоричным и, в конце концов, сделался противен. Но теперь картина вдруг ясно предстала перед ним, и он принялся за работу под свежим впечатлением этого видения, не ощущая больше аллегоричности.

Это были три фигуры в натуральную величину: мужчина и женщина, чуждые друг другу и поглощенные каждый своими мыслями, а между ними играющий ребенок, радостно-тихий и не подозревающий о тяготеющей над ним туче. Личный характер картины был ясен, но мужчина и женщина ничем не напоминали художника и его жену, и только ребенок был Пьер, изображенный несколькими годами моложе. Этого ребенка он написал со всей прелестью и благородством своих лучших портретов; фигуры по обе стороны сидели в застывшей симметрии, суровые, страдальческие образы одиночества. Мужчина, подперев голову рукой, погрузился в тяжелое раздумье, женщина вся ушла в страдание и тупое оцепенение.

Камердинеру Роберту приходилось в эти дни не сладко.

Верагут сделался необыкновенно нервен. Он не переносил во время работы ни малейшего шума в соседних комнатах.



Тайная надежда, со времени посещения Буркгардта ожившая в Верагуте, горела, точно пламя, в его груди, сжигала угнетенность, обращая ее в упорство, и окрашивала ночью его сны манящим и волнующим светом. Он не хотел ее слушать, не хотел ничего о ней знать, он хотел только работать и ощущать в своей душе спокойствие. Но спокойствия-то он и не находил. Он чувствовал, как тает ледяная кора его безрадостного существования и колеблется весь фундамент его жизни, в сновидениях ему представлялась его мастерская, запертая и опустелая, представлялась жена, уезжающая от него; но она забирала Пьера с собою, и мальчик протягивал к нему тонкие ручки. По вечерам Верагут часто часами сидел один в своей неудобной маленькой гостиной, углубившись в созерцание индийских фотографий, пока утомленные глаза не смыкались сами собой.

Две силы жестоко боролись в нем, но надежда была сил, нее. Все снова повторял он себе свои разговоры с Отто, все неудержимее пробивались все подавленные желания и потребности его сильной натуры из глубины, где они столько времени пролежали, застывшие, в плену, -- и перед этим весенним напором пробудившихся сил не могло устоять старое больное заблуждение, что он уже старик, которому остается только как-нибудь дожить свой век. Глубокий, могучий гипноз смирения был сломлен, и сквозь отверстие толпой врывались бессознательные, инстинктивные силы долго сдерживаемой и обманываемой жизни.

Чем яснее звучали эти голоса, тем боязливее сжималась душа художника в болезненном страхе перед окончательным пробуждением. Все снова судорожно закрывал он ослепленные глаза и, содрогаясь всеми фибрами, противился необходимой жертве. •

Иоганн Верагут редко показывался в господском доме, он обедал и ужинал у себя в мастерской и почти все вечера проводил в городе. Если же ему случалось бывать в обществе жены или Альберта, он был тих и кроток и, казалось, забыл всякую враждебность.

На Пьера он, как будто бы, мало обращал внимания. Обыкновенно он заманивал ребенка к себе, по крайней мере, раз в день и оставлял его у себя или гулял с ним в саду. Теперь бывали дни, когда он даже не видел мальчика и не спрашивал о нем. Если мальчик попадался ему где-нибудь на дороге, он задумчиво целовал его в лоб, печально и рассеянно заглядывал ему в глаза и шел дальше.

Однажды после обеда Верагут зашел в каштановый сад. Был теплый, ветреный день, чуть накрапывал косой теплый дождь. Из открытых окон дома доносилась музыка. Художник остановился и прислушался. Пьеса была ему незнакома. Она звучала чисто и серьезно и поражала своей строгой, стройной и гармоничной красотой. Верагут слушал с задумчивой радостью. Странно, в сущности, это была музыка для стариков, в ней было что-то осторожное и мужественное, и ничто в ней не напоминало вакхического опьянения той музыки, которую он сам когда-то в юности любил больше всего.

Он тихо вошел в дом, поднялся по лестнице и без доклада, бесшумно вошел в гостиную, где его приход заметила только фрау Адель. Альберт играл, а его мать стояла у рояля и слушала. Верагут сел в ближайшее кресло, опустил голову и стал неподвижно слушать. От времени до времени он поднимал глаза и взглядывал на жену. Она была здесь у себя дома, в этих комнатах она прожила тихие, полные разочарования годы, как он напротив, у озера, в своей мастерской, но у нее был Альберт, она шла вперед и росла вместе с ним, и теперь сын был ее гостем и другом, и чувствовал себя у нее дома. Фрау Адель немного постарела, она научилась смиряться и довольствоваться малым, ее взгляд сделался твердым, а рот немного сухим; но она не потеряла корней, она твердо и уверенно двигалась в своей собственной атмосфере, и в этой атмосфере росли и сыновья. В ней было мало размаха и не слишком много порывистой нежности, ей недоставало почти

всего, что ее муж искал и чего ожидал от нее когда-то, но ее окружала атмосфера тепла и уюта; в ее лице, в ее манерах, в ее комнатах было что-то твердое, определенное, здесь была почва, на которой дети могли расти и преуспевать.

Верагут с удовлетворением кивнул головой. Здесь не было никого, кто мог бы что-нибудь потерять, если бы он исчез навсегда. В этом доме могли обойтись без него. Он может построить себе мастерскую где угодно, в любом уголке света, и окружить себя деятельностью и жаром работы, но никогда эта мастерская не сможет быть родиной ни для кого. В сущности, он знал это давно, и это было хорошо.

Альберт перестал играть. Он почувствовал или увидел по взгляду матери, что в комнате кто-то есть. Он обернулся и изумленно и недоверчиво посмотрел на отца.

-- Здравствуй, -- сказал Верагут.

-- Здравствуй, -- смущенно ответил сын, подходя к нотному шкапу и начиная рыться в нем.

-- А вы тут музицировали? -- дружелюбно спросил отец.

Альберт пожал плечами, точно спрашивая: "Разве ты не слышал?" Лицо его залил румянец, и он низко нагнулся к полкам с нотами, чтобы скрыть его.

-- Красивая вещь, -- продолжал отец, улыбаясь. Он отлично чувствовал, как неприятен его приход, и с легким налетом злорадства сказал:

-- Сыграй, пожалуйста, еще что-нибудь! Что хочешь! Ты сделал большие успехи.

-- Ах, мне не хочется больше, -- с досадой ответил Альберт.

-- Ну, пожалуйста, без отговорок. Я прошу тебя!

Фрау Верагут испытующе посмотрела на мужа.

-- Ну, Альберт, садись! -- сказала она, ставя на пюпитр ноты. При этом она задела рукавом серебряную цветочную корзиночку с розами, стоявшую на рояле, и на блестящее черное дерево посыпались бледные лепестки.

Юноша сел за рояль и начал играть. Он был смущен и раздосадован, и играл, точно отвечая скучный урок, быстро и невыразительно. Отец несколько времени слушал внимательно, затем впал в задумчивость и, наконец, внезапно встал и бесшумно вышел из комнаты еще прежде, чем Альберт кончил. Уходя, он слышал, как юноша яростно ударил по клавишам и оборвал игру.

-- Они и не почувствуют моего отсутствия, -- думал художник, спускаясь по лестнице. -- Боже, как далеки мы друг от друга. А ведь когда-то мы все-таки были чем-то вроде семьи!

В коридоре к нему бросился Пьер, сияющий и возбужденный.

-- Папочка, -- задыхаясь, воскликнул он, -- как хорошо, что ты здесь! Подумай только, у меня есть мышь, маленькая, живая мышь! Смотри, вот, у меня в руке -- видишь глаза? Желтая кошка поймала ее, и она играла с ней и так мучила ее, и все опять отпускала ее и опять ловила. А я живо - живо протянул руку и выхватил мышку у нее из-под носа. Что мы теперь сделаем с ней?

Он смотрел на отца, сияя от радости, но все-таки вздрогнул, когда мышь зашевелилась в его маленькой,жатой в кулак руке, и издала короткий, трепетный свист.

-- Мы пустим ее погулять по саду, -- сказал отец, -- пойдем!

Он велел подать себе зонтик и взял мальчика с собой.

Небо посветлело, дождь чуть-чуть накрапывал, гладкие стволы буков блестели, точно чугун.

Они остановились между пышно разросшимися, сплетающимися в узлы корнями нескольких деревьев. Пьер присел на корточки и медленно разжал кулачок. Щеки его покраснелись, а светлые серые глаза сияли от возбуждения. И вдруг, точно не в силах больше переносить ожидания, он разом раскрыл ручку. Мышь, крошечный молодой зверок, опрометью выбежала из темницы, остановилась на расстоянии

фута перед большим корнем и села на него. Видно было, как волновались от прерывистого дыхания ее бока и испуганно глядели вокруг маленькие блестящие черные глазки.

Пьер громко закричал от радости и захлопал в ладоши. Мышь испугалась и, точно каким-то волшебством, исчезла в земле. Отец тихонько пригладил растрепавшиеся густые волосы мальчика.

-- Хочешь ко мне, Пьер?

Мальчик вложил свою правую руку в левую отца и пошел с ним.

-- Теперь мышка уже дома у своей мамы и папы и рассказывает им все.

Он щебетал без умолку, а отец крепко держал в своей руке его маленькую теплую ручку, и при каждом слове ребенка сердце его вздрагивало и снова впадало в тяжкое рабство любви.

Нет, никогда в жизни он не сможет больше чувствовать такой любви, как к этому ребенку. Никогда больше он не сможет переживать минуты такой теплой, сияющей нежности, такого радостного самозабвения, такой грустной прелести, как с Пьером, с этим последним прекрасным образом своей собственной юности. Его миловидность, его смех, свежесть всего его маленького самоуверенного существа были, казалось Верагуту, последним радостным, чистым звуком в его жизни, они были для него тем, чем бывает для осеннего сада последний цветущий розовый куст. В нем сосредоточиваются тепло и солнце, лето и радость сада, и когда буря развеет его лепестки или иней убьет их, прощай вся прелесть, всякий намек на блеск и радость.

-- Почему ты собственно не любишь Альберта? -- вдруг спросил Пьер.

Верагут крепче сжал детскую ручку.

-- Я-то его люблю. Но он любит маму больше меня. С этим ничего не поделаешь.

-- Я думаю, он тебя совсем не любит, папа. И, знаешь, он и меня не любит больше так, как прежде. В первый день, как он приехал, я ему рассказал про мой сад, который я сам насадил, и он сделал такое славное лицо и сказал: "Завтра мы посмотрим твой сад". Но с тех пор он больше о нем не спрашивал. Он плохой товарищ, и у него уже растут маленькие усы. И он всегда с мамой, она почти никогда не бывает со мной одним.

-- Ведь он пробудет здесь только несколько недель, детка, ты не должен этого забывать. А если ты не застаешь маму одну, ты ведь можешь всегда прийти ко мне. Или ты не хочешь?

-- Это не одно и то же, папа. Иногда мне хочется пойти к тебе, а иногда лучше к маме. И ведь тебе надо всегда так много работать.

-- На это тебе нечего обращать внимания, Пьер. Если только тебе хочется прийти ко мне, ты можешь приходить всегда, -- слышишь, всегда, даже если я в мастерской и работаю.

Мальчик не ответил. Он посмотрел на отца, слегка вздохнул и казался неудовлетворенным.

-- Тебе это не нравится? -- спросил Верагут, у которого защемило сердце от выражения детского личика, за минуту еще сиявшего бурным мальчишеским весельем, а теперь угрюмого и вдруг постаревшего.

Он повторил свой вопрос:

-- Говори же, Пьер! Ты недоволен мной?

-- Нет, папа. Но я не люблю приходить к тебе, когда ты рисуешь. Раньше я иногда приходил...

-- Ну, и что же тебе не понравилось?

-- Знаешь, папа, когда я прихожу к тебе в мастерскую, ты всегда гладишь меня по голове и ничего не говоришь, и глаза у тебя совсем другие, а иногда у тебя бывали даже злые глаза, да. И если тебе тогда что-нибудь сказать, видно по твоим глазам,

что ты не слушаешь, ты говоришь только "да, да" и не обращаешь никакого внимания. А когда я к тебе прихожу и хочу тебе что-нибудь рассказать, я хочу, чтобы ты слушал!

-- Ты должен все-таки приходить, детка. Ты постарайся понять: когда я работаю, я должен хорошенько-хорошенько обдумать, как сделать все получше, и все мои мысли заняты этим. Вот мне и бывает иногда трудно оторваться и слушать тебя. Но я попробую, когда ты придешь в следующий раз.

-- Да, я понимаю. Я тоже часто думаю о чем-нибудь, и вдруг меня кто-нибудь зовет, и я должен слушаться -- это ужасно неприятно. Иногда мне хочется целый день сидеть на месте и думать, и как раз тогда меня заставляют играть или учиться или делать что-нибудь. Я тогда ужасно злюсь.

Пьер напряженно смотрел перед собой, усиливаясь выразить свою мысль как можно яснее. Это было трудно, и ведь большей частью его так и не понимали до конца.

Они уже были в гостиной Верагута. Он сел и поставил мальчика между коленями.

-- Я знаю, что ты хочешь сказать, Пьер,--успокаивающе за-метил он.--А теперь что ты хочешь: посмотреть картинки или рисовать? Я думаю, ты мог бы нарисовать эту историю с мышкой.

-- Да, да, я попробую. Но мне нужно хорошую, большую бумагу.

Отец вынул из ящика стола кусок рисовальной бумаги, очинил карандаш и придвинул мальчику стул. Пьер сейчас же встал на него коленями и принялся рисовать кошку и мышь. Верагут, чтобы не мешать ему, сел сзади него и углубился в созерцание тонкой загорелой шеи, гибкой спины и благородной, своенравной головы ребенка, который весь ушел в свое занятие и сопровождал работу нетерпеливыми движениями губ. Каждый штрих, каждый маленький успех или неудача ясно отражались в подвижном рте, в движении бровей и морщинок на лбу.

-- Ах, ничего не выходит!-- вскричал, наконец, Пьер, выпрямился, упираясь ладонями, и, прищурившись, критически посмотрел на свой рисунок.-- Ничего не выходит!-- гневно повторил он.-- Папа, как рисуют кошку? У меня вышло похоже на собаку.

Отец взял в руки бумагу и серьезно принялся за дело.

-- Придется немножко подчистить, -- спокойно сказал он.-- Голова слишком большая и недостаточно круглая, а лапы слишком длинные. Подожди, сейчас мы все это исправим.

Он осторожно провел резинкой по листу Пьера, достал другую бумагу и нарисовал на ней кошку.

-- Вот, смотри, какая она должна быть. Посмотри на нее хорошенько и нарисуй другую кошку.

Однако терпение Пьера истощилось, он отдал карандаш обратно, и папа должен был нарисовать еще котенка, а потом мышь, а потом, как Пьер приходит и ее освобождает, а, в конце концов, он потребовал еще коляску с лошадьми и кучером.

Но вдруг и это тоже стало скучно. Мальчик, напевая, обежал раза два комнату, посмотрел в окно, идет ли еще дождь, и, подпрыгивая, побежал к двери. Под окнами еще раз прозвенел его милый тонкий голосок, напевавший какую-то песенку, затем все стихло, и отец остался один, с нарисованными на листке кошками в руке.

## VIII.

Верагут стоял перед своей большой картиной с тремя фигурами и писал платье женщины, тонкое, голубовато-зеленое одеяние, у выреза которого одиноко и

печально блестело маленькое золотое украшение. Одно оно отражало мягкий свет, не находивший себе приюта на затененном лице и чуждо и безрадостно скользивший по холодной голубой одежде, -- тот самый свет, который радостно и тепло играл рядом в светлых волосах прекрасного ребенка.

В дверь постучали, и художник нехотя, с раздражением отступил назад. Когда немного времени спустя стук повторился, он большими шагами подошел к двери и чуть-чуть приоткрыл ее.

Перед ним стоял Альберт, за все каникулы ни разу не переступивший порога мастерской. Он держал соломенную шляпу в руке и несколько неуверенно смотрел на нервное лицо отца.

Верагут впустил его.

-- Здравствуй, Альберт. Ты пришел взглянуть на мои картины? Здесь у меня почти ничего нет.

-- О, я совсем не хочу мешать. Я хотел только спросить...

Но Верагут уже закрыл дверь и, пройдя мимо мольберта, направился к серому решетчатому помосту, где на узких, снабженных блоками подставках стояли его картины. Он вытащил картину с рыбами.

Альберт смущенно стал рядом с отцом, и оба долго смотрели на серебристо мерцающее полотно.

-- Тебя живопись интересует сколько-нибудь? -- небрежно спросил Верагут.-- Или ты только музыку любишь?

-- О, я картины очень люблю, а эта прямо чудесная.

-- Тебе нравится? Я очень рад. Я закажу для тебя фотографию. Ну, а как ты себя чувствуешь в Росгальде?

-- Спасибо, папа, очень хорошо. Но я, право, не хотел тебе мешать, я зашел только узнать...

Художник не слушал. Он рассеянно смотрел сыну в лицо вникающим, напряженным взглядом, который у него всегда появлялся при работе.

-- Что вы, нынешняя молодежь, собственно думаете об искусстве? Я хочу сказать, признаете ли вы Ницше или еще читаете Тэна -- он был умен, но скучен, этот Тэн, - или у вас какие-нибудь новые идеи?

-- Тэна я еще не знаю. Об этом ты, конечно, думал гораздо больше меня.

-- Прежде -- да. Тогда искусство и культура, и аполлоновское и дионисовское начала, и вся эта ерунда казались мне страшно важными. Но теперь я рад, если мне удастся смастерить хорошую картину, и не думаю при этом ни о каких проблемах, по крайней мере, философских. И если бы я должен был сказать, почему собственно я художник и расписываю все эти полотна, я сказал бы: пишу, потому что у меня нет хвоста, чтобы махать им.

Альберт с изумлением посмотрел на отца, который уже давно не вел с ним таких бесед.

-- Нет хвоста? Как это?

-- Очень просто. У собак и кошек и других одаренных животных есть хвост, и для каждой их мысли, ощущения и чувства, для каждого изгиба настроения и каждой вспышки жизнеощущения у их хвоста имеется дивно совершенный, состоящий из тысячи завитушек и арабесок, язык. У нас его нет, а так как более живые среди нас тоже нуждаются в чем-нибудь подобном, то они и придумали кисти, рояли и скрипки...

Он оборвал, как будто разговор вдруг перестал интересовать его или он только теперь заметил, что говорит один и не находит в Альберте отклика.

-- Ну, спасибо, что зашел, -- без всякого перехода сказал он.

Он опять подошел к своей работе, взял палитру в руки и устремил ищущий взгляд на место, куда положил последний мазок.

-- Прости, папа, я хотел тебя спросить...

Верагут обернулся; во взгляде его уже выражалась оторванность от всего, что лежало вне его работы.

-- Что такое?

-- Я хотел взять Пьера с собой покататься. Мама позволила, но сказала, что я должен спросить и тебя. :

-- Куда же вы хотите ехать?

-- Куда-нибудь подальше. Может быть, в Пегольцгейм.

-- Так... Кто же будет править?

-- Я, конечно, папа.

-- Что ж, пожалуй, можешь его взять! Но только вели запрячь гнедого. И смотри, чтобы ему не давали слишком много овса!

-- Ах, мне хотелось бы ехать парой!

-- Мне очень жаль. Один ты можешь ехать, как хочешь, но если ты берешь Пьера, то только на гнедом.

Альберт ушел, несколько разочарованный. В другое время он заупрямился бы или попытался опять просить, но теперь он видел, что художник уже опять весь поглощен своей работой, и здесь, в мастерской и в атмосфере своих картин, отец, несмотря на все его внутреннее сопротивление, каждый раз импонировал ему так сильно, что, при всем своем нежелании признавать его авторитет, он чувствовал себя перед ним жалким мальчишкой.

Художник сейчас же опять погрузился в работу, короткий перерыв был забыт, и внешний мир исчез. Напряженно-сосредоточенным взглядом сравнивал он поверхность полотна с живой картиной в своей душе. Он чувствовал музыку света, чувствовал, как разделялся и снова соединялся его звучащий поток, как тускнел он, натываясь на препятствия, как поглощался ими и, непобедимый, снова торжествовал на каждой восприимчивой поверхности, как с капризной, но непогрешимой прихотливостью, с тончайшей чувствительностью играл в красках, всегда один в тысяче преломлений, в тысяче игривых уклонений, неизменно верный своему внутреннему закону. И он большими глотками пил крепкий воздух искусства, суровую радость творца, отдающего себя всего до грани уничтожения, находящего святое счастье свободы лишь в железном укрощении всякого произвола и миги достижения лишь в аскетическом послушании чувству действительности.

Это было странно и печально, хотя и не более странно и печально, чем всякая человеческая судьба: этот строгий художник, которому глубочайшая правдивость и неумолимо-ясная сосредоточенность казались необходимыми условиями работы, тот самый человек, в мастерской которого не было места неуверенности и случайностям настроения, в жизни был дилетантом и потерпевшим крушение искателем счастья; он, не выпустивший из своей мастерской ни одного неудачного холста, глубоко страдал под бременем бесчисленных неудачных дней и лет, неудачных попыток добиться любви и устроить свою жизнь.

Он не сознавал этого. Он давно утратил потребность давать себе ясный отчет в том, что такое представляет собой его жизнь. Он страдал и боролся со страданием, то возмущаясь, то смиряясь, и кончил тем, что предоставил всему идти своим путем, а все свои силы отдал искусству. И его крепкой натуре удалось почти обогатить свое искусство той глубиной и огнем, которые утратила его лишенная тепла, ставшая такой убогой, жизнь. Одиноким и закованным в броню, он жил, точно зачарованный, весь уйдя в свою волю художника и беспощадное прилежание, и его натура была достаточно здорова и упорна, чтобы не видеть и не хотеть признавать убогости своей жизни.

Так было до недавнего времени, пока его не всколыхнул приезд друга. С тех пор его не покидало пугающее предчувствие опасности и близости чего-то рокового; он чувствовал, что его ждут борьба и испытания, в которых его искусство и прилежание не смогут помочь ему. Человек в нем, так долго подавляемый, чуял бурю и не находил в себе корней и сил, чтобы выдержать ее. И лишь мало-помалу привыкала осиротелая душа к мысли, что скоро-скоро придется испытать до дна чашу страдания, которого она так долго бежала.

В борьбе с этими грозными предчувствиями и в страхе перед ясными мыслями, а еще больше решениями, все существо художника еще раз напряглось в огромном усилии, как напрягается для спасительного прыжка преследуемый зверь. В эти дни внутренней тревоги Иоганн Верагут отчаянным напряжением всех сил создал одно из своих величайших и прекраснейших творений: играющее дитя между согбенными, страдальческими фигурами родителей. Одна почва была под ними, один воздух обвевал, один свет освещал их. Но от фигур мужчины и женщины веяло смертью и жесточайшим холодом, между тем как ликующее златокудрое дитя между ними точно светилося собственным светом. И если впоследствии, наперекор его собственному скромному суждению, некоторые почитатели художника все-таки причисляли его к истинно великим, то, прежде всего, именно из-за этой картины, которая была так полна души и скорби, хотя хотела быть только хорошо исполненной работой ремесленника.

В эти часы Верагут не знал ни слабости, ни страха, он забывал про свои страдания и вину, и неудавшуюся жизнь. Ему не было ни радостно, ни грустно; скованный и поглощенный своим творением, он вдыхал холодный воздух творческого одиночества и ничего не желал от мира, который в эти мгновения совсем переставал существовать для него. Быстро и уверенно, с выступавшими из орбит от напряжения глазами, он легкими, ловкими движениями накладывал краски, перемещал ниже тени, обливал более мягким светом листик или играющий локон. При этом он не думал о том, что выражает его картина. С этим было покончено, это была идея, замысел; теперь речь шла не о значениях, чувствах и мыслях, а о некой действительности. Он даже опять смягчил и почти сгладил выражение лиц, он не хотел сочинять и рассказывать, и легшая на колене складка плаща была ему так же важна и священна, как склоненное чело и сомкнутые уста. На картине не должно было быть ничего, кроме трех людей, самых обыкновенных и реальных, соединенных воздухом и пространством, но овеянных каждый той атмосферой единственности, которая вырывает каждое явление из безразличного мира соотношений и наполняет созерцателя трепетным удивлением перед роковой необходимостью всего сущего. Так с картин умерших мастеров, живые и загадочные, точно символы всего живущего, глядят на нас чуждые нам человеческие фигуры, имен которых мы не знаем и не хотим знать.

Картина подвинулась уже далеко и была почти готова. Отделку детской фигурки он оставил на конец. Он думал взяться за нее завтра или послезавтра.

Было уже за полдень, когда художник почувствовал голод и посмотрел на часы. Он торопливо умылся, переоделся и пошел в главный дом, где жена его сидела за столом одна и ждала.

-- Где же мальчики? -- с удивлением спросил он.

-- Они уехали. Разве Альберт не был у тебя?

Только теперь он вспомнил про посещение Альберта. Рассеянно и несколько смущенно принялся он за еду. Фрау Адель наблюдала за тем, как он небрежно и устало разрезывал кушанья. Она собственно больше не ждала его к столу, и при виде его утомленного лица ее охватило что-то вроде жалости. Она молча накладывала ему кушанья, подливала вина, и он, в порыве дружелюбия, решил сказать ей что-нибудь приятное.

-- Что ж, Альберт думает посвятить себя музыке? -- спросил он.-- Мне кажется, он очень талантлив.

-- Да, он даровит. Но я не знаю, подходит ли ему быть артистом. Я бы не хотела этого. До сих пор он не чувствует особенного влечения ни к чему, и его идеалом был бы джентльмен, интересующийся одновременно спортом и наукой, удовольствиями и искусством. Жить этим он навряд ли сможет, это мне придется ему со временем разъяснить. Но пока он так прилежен и ведет себя так хорошо, что мне не хочется напрасно тревожить его. Когда он сдаст экзамен на аттестат зрелости, он хочет, прежде всего, отслужить свой срок. А потом уж видно будет.

Художник молчал. Он очистил банан и с удовольствием понюхал зрелый, мучнисто пахнущий плод.

-- Если ты ничего не имеешь против, я выпью здесь и кофе, -- наконец, сказал он.

В его тоне чувствовалась осторожная приветливость и легкая усталость, точно ему приятно было отдохнуть здесь и немного понежиться.

-- Я сейчас велю принести. Ты много работал?

Эти слова вырвались у нее почти бессознательно. Она ничего не хотела этим сказать, она хотела только, раз уж выпала такая редкая хорошая минута, выказать немного внимания, а это, при отсутствии привычки, давалось нелегко.

-- Да, я писал несколько часов, -- сухо сказал муж.

Ему было неприятно, что она спросила его об этом. Между ними вошло в обычай, что о его работе никогда не говорилось, и многих из его новейших картин она совсем ни видела.

Она почувствовала, что светлый момент проходит, и ничего не сделала, чтобы удержать его. Он было протянул уже руку к своему портсигару, собираясь попросить разрешения выкурить папиросу, но рука его опустилась, и всякая охота пропала.

Однако он, не торопясь, выпил свой кофе, спросил еще что-то о Пьере, вежливо поблагодарил и еще несколько минут пробыл в комнате, рассматривая маленькую картину, которую подарил жене много лет тому назад.

-- Она хорошо сохранилась, -- сказал он, обращаясь больше к самому себе,--и даже совсем недурна. Только без желтых цветов можно было бы, собственно говоря, обойтись, -- они слишком пестрят картину.

Фрау Верагут ничего не сказала; именно эти необыкновенно тонко и воздушно написанные желтые цветы она больше всего любила в картине.

Он обернулся и слегка улыбнулся.

-- До свидания! И не слишком .скачай, пока вернутся мальчики.

И он вышел из комнаты. Внизу к нему бросилась и запрыгала вокруг него собака. Он взял обе ее лапы в левую руку, погладил ее правой и заглянул в преданные глаза. Затем он крикнул в открытое окно кухни, чтобы ему дали кусок сахара, дал его собаке, бросил взгляд на залитую солнцем дерновую площадку и медленно направился в мастерскую. Сегодня было славно на дворе, и воздух был великолепный, но ему было некогда, он должен был работать.

В тихом, ровном свете высокой мастерской стояла его картина. На зеленом лугу с немногочисленными мелкими полевыми цветами сидели три фигуры: мужчина, согбенный и погруженный в безотрадное раздумье, женщина, застывшая в безропотном ожидании и тупом разочаровании, и ребенок, радостно и беспечно играющий среди цветов. А над всеми ними сильный волнующийся свет, торжествуя, разливался в пространстве и сиял в каждой цветочной чашечке так же беззаботно и нежно, как и в светлых волосах ребенка и в маленьком золотом украшении на шее скорбной женщины.



Художник работал до вечера. Затем он бессильно опустился в кресло и несколько времени, сложив руки на коленях, сидел, отупев от усталости и чувствуя себя совершенно пустым, точно выжатым, с одряблевыми щеками и немного воспаленными веками, старый и почти безжизненный, как крестьянин или дровосек после тяжелой физической работы. Охотнее всего он просидел бы так весь вечер, не двигаясь с места и отдавшись всецело усталости и сонливости. Но суровая дисциплина, к которой он приучил себя, не допускала этого, и четверть часа спустя он резким усилием воли поднялся с места. Он вышел из комнаты, не бросив больше взгляда на картину, направился к купальне у пруда, разделся и медленно поплыл по озеру.

Был молочно-бледный вечер; с ближайшей проселочной дороги доносились, заглушенные парком, скрип телег с сеном да грубоватые перекликивания и смех наработавшихся за день работников и служанок. Верагут, поевживаясь, вышел на берег, тщательно вытерся досуха, пошел в свою маленькую гостиную и закурил сигару.

Он собирался писать сегодня письма и взялся было за ящик стола, но с досадой опять вдвинул его и позвонил Роберта.

Камердинер торопливо вошел в комнату.

-- Скажите, когда вернулись молодые господа?

-- Их еще нет, барин.

-- Как, еще не возвращались?

-- Нет, барин. Лишь бы только господин Альберт не загнал гнедого, он любит ездить очень быстро.

Художник не ответил. Он думал, что Пьер давно вернулся, и ему хотелось взять его к себе еще на полчаса. Сообщенное ему известие раздосадовало и немного испугало его.

Он побежал в большой дом и постучался в комнату жены. Она встретила его с изумленным видом: давно уже не случалось, чтобы он зашел к ней сюда, да еще в такой час.

-- Извини, -- стараясь подавить свое волнение, сказал он, -- но я хотел бы знать, где Пьер.

Фрау Адель удивленно посмотрела на мужа.

-- Ведь мальчики уехали на прогулку, ты же знаешь. Надеюсь, ты не беспокоишься? -- прибавила она, почувствовав его раздражение.

Он досадливо пожал плечами.

-- Конечно, нет. Но я нахожу, что это очень бесцеремонно со стороны Альберта. Он говорил о нескольких часах. Он мог бы хоть телефонировать нам.

-- Но ведь еще рано. К ужину они, наверно, будут здесь.

-- Всегда, когда мне хочется видеть Пьера, оказывается, что его нет!

-- Не понимаю, почему ты сердишься. Ведь это чистая случайность. Пьер бывает у тебя достаточно часто.

Он закусил губы и молча вышел. Она была права, нелепо было волноваться, нелепо вообще быть чересчур пылким и хотеть чего-нибудь от данного мгновения! Гораздо лучше сидеть и терпеливо ждать, как это делает она!

Он гневно прошел через двор и вышел на дорогу. Нет, он не хочет этому учиться, он не откажется ни от радости, ни от гнева! Как смирила и укротила его уже эта женщина, каким сдержанным и старым стал уже он, когда-то не знавший удержу в веселье и в радости превращавший ночи в дни, а в гнев ломавший стулья! Вся злоба и горечь снова вспыхнули в нем и вместе с ними -- неудержимая потребность в ребенке, взгляд и голос которого одни могли влить в его душу радость.

Крупными шагами он быстро шел по вечерней дороге. Послышался стук колес, и он бросился навстречу. Но это оказалась крестьянская кляча, запряженная в телегу с овощами. Верагут окликнул крестьянина.

-- Вы не обогнали коляски с двумя молодыми людьми на козлах?

Крестьянин, не останавливаясь, покачал головой, и его тяжелая лошадь равнодушно потрусила дальше.

Художник продолжал идти по дороге. Гнев его мало-помалу улегся. Походка его сделалась спокойнее, и, охваченный приятной усталостью, он неторопливо шагал вперед, а глаза его благодарно отдыхали на тихом, богатом пейзаже, нежно и призрачно выделявшемся в туманном вечернем свете.

Он уже почти не думал о своих сыновьях, когда, после получаса ходьбы, навстречу ему показалась коляска. Он заметил ее только тогда, когда она была уже близко. У большой груши Верагут остановился, а когда коляска приблизилась настолько, что он мог различить лицо Альберта, он еще больше отступил назад, чтобы его не увидели и не окликнули.

Альберт был на козлах один. Пьер полулежал в углу коляски, опустив непокрытую голову, и, по-видимому, дремал. Коляска покатила дальше; художник смотрел ей вслед. Он стоял у края пыльной дороги до тех пор, пока она не скрылась из вида. Тогда он повернул и пошел назад. Ему хотелось еще повидать Пьера, но мальчику было уже пора спать, а у него самого не было желания еще раз показываться сегодня у жены.

Он прошел мимо парка, дома и ворот и спустился вниз, в город, где поужинал в народном погребке и долго сидел, просматривая газеты.

Между тем его сыновья были давно дома. Альберт сидел у матери и рассказывал. Пьер очень устал, не хотел ничего есть и уже спал в своей хорошенькой маленькой спальне. И когда отец ночью вернулся и проходил мимо дома, нигде не было видно света. Теплая беззвездная ночь окутывала парк, дом и озеро черным молчанием, а из неподвижного воздуха тихо падали мелкие капли дождя.

Верагут зажег у себя в гостиной огонь и сел за письменный стол. Его сонливость совершенно исчезла. Он взял листок почтовой бумаги и стал писать Отто Бурггардту. В открытые окна влетали ночные бабочки и мошки. Он писал:

"Милый Отто!

Ты, верно, не ждешь теперь письма от меня. Но раз я уже пишу, то ты, конечно, ждешь большего, чем я могу дать. Ты ждешь, что теперь все во мне пришло в ясность, и я вижу испорченный механизм своей жизни в разрезе так же ясно, как, тебе кажется, видишь его ты. К сожалению, это не так. Правда, с тех пор, как мы с тобой поговорили об этом, во мне точно вспыхнула зарница, и в иные мгновения много мучительного раскрывается передо мной; но здесь нужен ясный свет дня, а его еще нет.

Что я сделаю потом, я не могу сказать. Но я еду! Еду с тобой в Индию, и ты уж позаботься о билете для меня, когда соберешься ехать. Лето я хотел бы еще провести здесь, но осенью -- чем раньше, тем лучше.

Картину с рыбами, которую ты здесь видел, я хотел бы подарить тебе, но мне было бы приятно, если бы она осталась в Европе. Куда ее послать?

Здесь все по-прежнему. Альберт разыгрывает светского человека, и мы обращаемся друг с другом необыкновенно почтительно, точно посланники двух враждебных держав.

Перед отъездом я еще раз жду тебя в Росгальду. Я должен показать тебе картину, которая будет готова на этих днях. Она недурна и была бы славным

заключительным аккордом, если бы меня за морем сожрали ваши крокодилы, что, впрочем, несмотря ни на что, было бы мне нежелательно.

Пора ложиться, хотя спать совсем не хочется. Я сегодня провел девять часов у мольберта.

*Твой Иоганн".*

Он надписал адрес и положил письмо в переднюю, чтобы Роберт утром отнес его на почту.

Лишь теперь, высунув в окно голову, художник заметил шум дождя, на который раньше, сидя за письменным столом, не обратил внимания. Он падал из мрака мягкими полосами, и Верагут долго еще, лежа в постели, слышал, как он струился и маленькими звонкими ручейками сбегал с отягощенной листвы на жаждущую землю.

## Х.

-- Пьер такой скучный, -- сказал Альберт матери, когда они вместе сошли в освеженный дождем сад нарезать роз.-- Он и все время был не очень-то мил со мной, но вчера он был совсем невозможный. На днях, когда я заговорил о том, чтобы поехать куда-нибудь вместе, он был в восторге. А вчера он как будто совсем не хотел ехать, мне пришлось его почти просить. Для меня это было не такое большое удовольствие, раз я не мог ехать парой. Я поехал собственно только ради него.

-- Разве он дорогой вел себя не хорошо? -- спросила фрау Верагут.

-- Ах, хорошо-то хорошо, но он был такой скучный! Иногда в нем чувствуется прямо что-то пресыщенное, в таком мальчугане! Что бы я ему ни предложил или ни показал, он едва достаивал кивнуть головой или улыбнуться. Он не хотел сидеть на козлах, не хотел учиться править, не хотел даже есть абрикосов. Совсем как какой-то избалованный принц. Прямо досадно! Я говорю это тебе потому, что в другой раз я, право, не возьму его.

Мать остановилась и испытующе посмотрела на него, улыбаясь над его возбуждением и любясь его сверкающими глазами.

-- Ах, ты, большой мальчик,-- успокаивающе сказала она,-- ты должен быть терпелив по отношению к нему. Может быть, он был не совсем здоров, он и сегодня утром почти ничего не ел. Это случается иногда со всеми детьми, с тобой это тоже бывало. Легкого расстройства желудка или скверных снов ночью достаточно для этого, а Пьер ведь у нас такой хрупкий и чувствительный. И потом, пойми, он, может быть, немножко ревнует. Ты должен принять во внимание, что обыкновенно я все свое время отдаю ему, а теперь ему приходится делиться с тобой.

-- Но ведь у меня каникулы! Он мог бы понять это, он не глуп!

-- Он ребенок, Альберт, ты старше его и должен быть благоразумнее.

С отливавших металлическим блеском листьев еще падали капли. Мать и сын выбирали исключительно желтые розы, которые Альберт особенно любил. Он раздвигал верхушки кустов, а мать садовыми ножницами срезывала еще мокрые цветы, жалко свисавшие вниз.

-- Скажи, я был похож на Пьера, когда был в его возрасте?-- задумчиво спросил Альберт.

Фрау Адель подумала. Она опустила руку с ножницами, заглянула сыну в глаза и затем закрыла свои, чтобы вызвать в себе его детский образ.

-- Наружностью ты был довольно похож на него, за исключением глаз. Только ты был не такой тонкий и высокий, ты начал расти позже.

-- А вообще? Я хочу сказать, характером?

-- Ну, капризов у тебя было тоже достаточно, мой мальчик. Но мне кажется, ты был постояннее, ты не так быстро менял свои игры и занятия, как Пьер. Он порывистее, чем ты был, ты был более уравновешен.

Альберт взял у матери из рук ножницы и нагнулся, приглядываясь, над розовым кустом.

-- Пьер больше похож на папу,-- тихо сказал он.-- Знаешь, мама, это удивительно, как в детях повторяются и смешиваются особенности родителей и предков! Мои друзья говорят, что в каждом человеке с рождения заложено все, что определяет его дальнейшую жизнь, и с этим ничего нельзя поделать, абсолютно ничего. Вели, например, у кого-нибудь есть склонность к тому, чтобы стать вором или убийцей, то ничто не поможет, он должен стать преступником. Это ужасно. Ты, конечно, тоже так думаешь? Это научная истина.

-- Бог с ней, с наукой. -- улыбнулась фрау Адель.-- Когда кто-нибудь делается преступником и совершит убийство, наука, может быть, и может доказать, что это было в нем всегда. Но я нисколько не сомневаюсь, что есть очень много порядочных людей, которые унаследовали от родителей и дедов достаточно дурного и все-таки остались хорошими, и этого наука не может исследовать до конца. Я считаю, что хорошее воспитание и добрая воля сильнее всякой наследственности. Что справедливо и порядочно, мы все знаем, и этого мы и должны держаться. Что же в нас скрывается из прадедовских тайн, этого никто хорошенько не знает, и лучше с этим не считаться.

Альберт знал, что его мать никогда не вступает в диалектические пререкания, и в сущности он инстинктивно чувствовал правоту ее бесхитростного образа мыслей. Но в то же время он сознавал, что так легко с этой опасной темой покончить нельзя, и ему хотелось сказать что-нибудь основательное о том учении о причинности, которое всегда казалось ему таким убедительным в устах некоторых из его друзей. Но он напрасно искал в своем уме твердых, определенных, значительных фраз, да и, в противоположность этим друзьям, которыми он восхищался, он чувствовал себя в сущности гораздо более склонным к этически-эстетическому мирозерцанию, чем к научно-объективному, которое исповедовал в кругу своих товарищей. Таким образом, он оставил все эти вопросы в покое и перешел опять к розам.

Между тем Пьер, который, в самом деле, чувствовал себя нехорошо и утром проснулся гораздо позже обыкновенного и в очень вялом настроении, оставался в детской до тех пор, пока ему не надоели все его игрушки. Ему было очень не по себе и казалось, что должно случиться что-нибудь особенное, чтобы этот скучный день сделался сносным и сколько-нибудь приятным для него.

Колеблясь между ожиданием и недоверием, он вышел из дому и направился в липовый сад в поисках чего-нибудь нового, какой-нибудь находки или приключения. В желудке у него было неприятное ощущение, знакомое ему по прежним случаям недомогания, а в голове была усталость и тяжесть, каких он не испытывал еще никогда. Охотнее всего он уткнулся бы головой в колени матери и дал волю слезам. Но этого нельзя было сделать, пока здесь был гордый большой брат, который и так всегда давал ему чувствовать, что он еще маленький мальчик.

Если бы матери пришлось в голову самой что-нибудь сделать, позвать его к себе, предложить ему поиграть во что-нибудь и приласкать его! Но она, конечно, уже опять ушла с Альбертом. Пьер чувствовал, что сегодня несчастный день и что надеяться не на что.

Он уныло и нерешительно побрел по усыпанным песком дорожкам, засунув руки в карманы и покусывая увядший стебель липового цветка. В саду было свежо и сыро, а стебель имел горький вкус. Он выплюнул его и с досадой остановился. Ему ничто не приходило в голову. Сегодня ему не хотелось быть ни принцем, ни разбойником, ни извозчиком, ни архитектором.

Нахмутив брови, смотрел он на землю и, разрыв кончиком ботинки песок, отшвырнул ногой далеко в траву серую слизистую улитку. Все сегодня было такое чужое, даже птицы и бабочки, ничто не слало ему улыбки и не веселило души. Все в природе молчало, все казалось таким будничным, безотрадным и убогим. У ближайшего куста он попробовал маленькую красную ягоду смородины; она была холодная и кислая. Надо было бы лечь и заснуть, думал он, и спать до тех пор, пока все опять не станет новым, красивым и веселым. Не стоит вот так ходить кругом и мучиться, и ждать чего-то, что и не думает приходить. Как хорошо было бы, если бы, например, вдруг вспыхнула война, и на дороге появилось множество солдат верхами или если бы где-нибудь загорелся дом, или вдруг сделалось большое наводнение. Ах, все это бывает только на картинках в книжках, на самом деле ничего этого никогда не увидишь, да, может быть, в жизни все эти вещи вовсе никогда и не случаются.

И мальчик со вздохом поплелся дальше. Хорошенькое нежное личико было уныло и безжизненно. Когда он услышал за высоким частоколом голоса Альберта и матери, ревность и отвращение овладели им с такой силой, что у него выступили слезы на глаза. Он повернулся и тихонько пошел прочь, чтобы его не услышали и не окликнули. Он не хотел теперь никому давать отчет, не хотел разговаривать, выслушивать замечания и наставления. Ему было скверно, очень скверно, и никому не было до него дела. Так, по крайней мере, он хотел упиться своим одиночеством и тоской и почувствовать себя по-настоящему несчастным.

Он подумал было о Боге, которого временами очень ценил, и на момент эта мысль принесла ему отдаленный проблеск утешения и тепла, но это сейчас же прошло. Очевидно, и Бог не мог ему ничем помочь. А между тем ему именно теперь так нужен был кто-нибудь, на кого можно было бы положиться и от кого можно было бы ожидать чего-нибудь хорошего и утешительного.

Вдруг он вспомнил об отце. Чувство подсказало ему, что отец, может быть, поймет его: ведь он сам по большей части был так молчалив и не весел, и вид у него был такой напряженный. Несомненно, он стоит теперь, как всегда, в своей большой тихой мастерской и рисует свои картины. Собственно нехорошо ему мешать. Но ведь он только на днях сказал, чтобы Пьер приходил к нему всегда, когда ему захочется. Может быть, он уже забыл об этом, -- все взрослые так скоро забывают свои обещания. Но попробовать все-таки можно. Боже мой, что же делать, если на душе так нехорошо, а утешения ждать больше не от кого!

Сначала медленно, потом, с загоревшейся вдруг надеждой, быстрее и бодрее направился он по тенистой аллее к мастерской. Здесь он взялся за ручку двери и остановился, прислушиваясь. Да, отец был внутри, он слышал его громкое дыхание и легкое покашливание, слышал, как постукивали деревянные рукоятки кистей, которые он держал в левой руке.

Он осторожно нажал ручку, бесшумно открыл дверь и заглянул в комнату. Сильный запах скипидара и лака был ему противен, но широкая, сильная фигура отца возбуждала надежду. Пьер вошел и закрыл за собой дверь.

При стуке захлопнувшейся двери художник, за которым Пьер зорко наблюдал, вздрогнул и повернул голову. Напряженный взгляд выразил недовольный вопрос, а рот принял неприятное выражение.

Пьер не шевелился. Он смотрел отцу в глаза и ждал. Сейчас же глаза последнего стали ласковее, а сердитое лицо смягчилось.

-- Смотри-ка, Пьер! Мы не виделись целый день. Тебя послала мама?

Мальчик покачал головой и дал себя поцеловать.

-- Хочешь немножко посидеть и посмотреть? -- ласково спросил отец.

В то же время он снова повернулся к своей картине и поднял руку с заостренной маленькой кистью. Пьер наблюдал за ним. Он видел, как художник смотрел на полотно, как напряженно и как будто гневно глядели его глаза, и нацеливалась сильная, нервная рука с тонкой кистью, видел, как вырезывались морщины на его лбу, а зубы впивались в нижнюю губу. При этом он вдыхал крепкий воздух мастерской, которого он не любил никогда и который сегодня был ему особенно противен.

Глаза его померкли, и он застыл у двери, точно парализованный. Все это было знакомо ему -- этот запах, и эти глаза, и эти гримасы внимания, и он понял, как глупо было ждать, что сегодня будет иначе, чем всегда. Отец работал, он копался в своих красках с этим их ужасным запахом и не думал ни о чем в мире, кроме своих глупых картин. Глупо было приходить сюда. ,

Лицо мальчика вытянулось от разочарования. Он так и знал! Сегодня ему не было нигде прибежища -- ни у матери, ни здесь!

С минуту он рассеянно и печально стоял и, не видя, смотрел на большую картину с блестящими влажными красками. Для этого у папы есть время, а для него нет. Он опять взялся за ручку двери и нажал ее, собираясь тихонько уйти.

Однако Верагут услышал робкий шорох. Он обернулся, что-то проворчал и подошел ближе.

-- В чем дело, Пьеро? Куда же ты? Разве ты не хочешь немножко побыть у папы?

Пьер отдернул руку и слабо кивнул головой.

-- Ты хотел мне что-нибудь сказать? -- ласково спросил художник.-- Пойдем, сядем рядом, и ты расскажешь мне. Ну, как вчерашняя прогулка?

-- О, очень хорошо, -- послушно ответил мальчик.

Верагут провел рукой по его волосам.

-- Тебе она, кажется, не пошла впрок? У тебя немножко заспанный Вид, детка! Не давали ли тебе вина вчера, а? Нет? Ну, что же мы будем делать? Рисовать?

Пьер покачал головой.

-- Мне не хочется, папа. Сегодня так скучно.

-- Скучно? Ты, наверно, плохо спал? Может быть, займемся немножко гимнастикой?

-- Мне не хочется. Мне хочется только быть у тебя, и больше ничего. Но здесь так плохо пахнет.

Верагут погладил его по голове и засмеялся.

-- Да, беда быть сыном художника, когда не любишь запаха красок. Ты, видно, никогда не будешь художником!

-- Да я и не хочу.

-- Чем же ты хочешь быть?

-- Ничем. Мне хотелось бы быть птицей или чем-нибудь в этом роде.

-- Это было бы недурно. Но скажи мне теперь, дружок, чего бы тебе хотелось. Видишь ли, мне нужно еще поработать над этой картиной. Если хочешь, ты можешь остаться здесь и немножко поиграть. Или дать тебе книжку с картинками?

Нет, это было не то, чего он хотел. Чтобы как-нибудь отделаться , он сказал, что пойдет кормить голубей, и отлично заметил, что отец свободно вздохнул и был рад его уходу. Он получил на прощанье еще один поцелуй и вышел из мастерской. Отец закрыл за ним дверь, и Пьер опять очутился один с еще большей пустотой в душе, чем прежде. Он побрел прямо по траве, хотя это было ему запрещено, рассеянно и озабоченно сорвал несколько цветков и равнодушно смотрел, как его светлые желтые сапожки покрывались в мокрой траве пятнами и темнели. В конце

концов, сломленный отчаянием, он бросился на землю и с плачем зарылся головой в траву, чувствуя, как мокнут и прилипают к рукам рукава его голубой блузы. -

Только когда его стала пробирать дрожь, он, опомнившись, встал и робко прокрался в дом.

Скоро его позовут, и тогда увидят, что он плакал, заметят мокрую, грязную блузу и промокшие ботинки и будут его бранить. Враждебно прошел он мимо двери кухни -- он не хотел теперь встречаться ни с кем. Ему хотелось бы очутиться где-нибудь далеко, где никто бы не знал о нем и не искал его.

В двери одной из редко обитаемых комнат для гостей торчал ключ. Он заметил его, вошел в комнату, закрыл за собой дверь, закрыл также стоявшие открытыми окна и, усталый и раздраженный, бросился, не снимая ботинок, на большую непокрытую кровать. Он долго лежал, отдавшись своему горю -- то плача, то впадая в легкую дремоту. Когда, много времени спустя, он услышал во дворе и на лестнице голос матери, звавший его, он не ответил и упрямо еще глубже зарылся в подушки. Голос матери звучал то ближе, то дальше и, наконец, совсем замолк, а он так и не мог заставить себя откликнуться. Под конец он заснул с мокрыми щеками.

В полдень, когда Верагут пришел к обеду, жена сейчас же спросила его:

-- Разве ты не привел Пьера?

Ея взволнованный тон поразил его.

-- Пьера? Я ничего не знаю о нем. Разве он был не с вами?

Фрау Адель испугалась и заговорила громче.

-- Нет, я его не видела с самого завтрака! Когда я его искала, девушки сказали мне, что видели, как он шел в мастерскую. Разве он не был там?

-- Да, он заходил, но только на минутку и сейчас же опять убежал. -- И он с досадой прибавил:-- Неужели в доме нет никого, кто бы присмотрел за ребенком?

-- Мы думали, что он у тебя, -- сухо и обиженно сказала фрау Адель.-- Я сейчас пойду искать его.

-- Пошли кого-нибудь за ним! Пора обедать.

-- Начните без меня. Я пойду искать сама.

Она торопливо вышла из комнаты. Альберт встал и хотел последовать за ней.

-- Оставайся здесь, Альберт!-- крикнул Верагут.-- Мы за столом!

Юноша гневно посмотрел на него.

-- Я буду обедать с мамой, -- раздраженно сказал он.

Отец иронически улыбнулся.

-- Что ж, пожалуйста, ведь ты хозяин в доме, не правда ли? Может быть, у тебя есть желание опять швырнуть в меня ножом -- так, пожалуйста, не стесняйся, пусть какие-то там предрассудки не смущают тебя!

Сын побледнел и отодвинул свой стул. Это было в первый раз, что отец напомнил ему про эту гневную вспышку его детских времен.

-- Ты не смеешь так говорить со мной! -- вспыхнув, вскричал он. -- Я этого не позволю!

Верагут, не отвечая, отломил кусочек хлеба и съел его. Он налил себе воды, медленно выпил ее и решил оставаться спокойным. Он делал вид, будто он один, и Альберт нерешительно подошел к окну.

-- Я этого не позволю!-- наконец, еще раз крикнул он, не в состоянии сдержать свой гнев.

Отец посыпал свой хлеб солью. В мыслях он видел себя на пароходе, едущим по бесконечным чуждым морям, далеко от всей этой непоправимой путаницы.

-- Хорошо, хорошо, -- почти мирно сказал он.-- Я вижу, что тебе неприятно, когда я с тобой разговариваю. Оставим это!

В этот момент в коридоре послышался удивленный возглас и поток взволнованных слов. Фрау Адель нашла мальчика в его убежище. Художник

прислушался и быстро вышел из комнаты. Сегодня, по-видимому, все шло вкривь и вкось.

Он застал Пьера в смятой постели, с грязными сапожками, с заспанным и заплаканным лицом и спутанными волосами. Мать стояла перед ним в беспомощном изумлении.

-- Говори же, детка, -- воскликнула она, наконец, колеблясь между тревогой и досадой, -- что с тобой? Почему ты не отвечаешь? И почему ты лежишь здесь?

Верагут поднял мальчика и испуганно заглянул в его безжизненные глаза.

-- Ты болен, Пьер? -- нежно спросил он.

Мальчик смущенно покачал головой.

-- Ты спал здесь? Ты здесь уже давно?

Слабым, унылым голосом Пьер сказал:

-- Я не виноват... Я ничего не сделал... У меня только болела голова.

Верагут на руках отнес его в столовую.

-- Дай ему тарелку супа, -- сказал он жене. -- Тебе надо поесть горячего, детка, тебе сразу станет лучше, вот увидишь. Ты, наверно, болен, бедняжка!

Он усадил его в свое кресло, подложил ему под спину подушку и сам стал ложкой давать ему суп.

Альберт сидел молча и угрюмо.

-- У него, в самом деле, больной вид, -- сказала фрау Верагут, почти успокоенная, с чувством матери, которой гораздо приятнее ухаживать за больным ребенком, чем разбираться в каких-то необычайных шалостях и наказывать его за них.

-- Ты поешь, а потом мы уложим тебя, котик, -- нежно, успокаивала она. •

Пьер сидел, весь серый, с полузакрытыми глазами, и без сопротивления глотал все, что ему вливали в рот. Пока отец кормил его супом, мать щупала ему пульс. Жара не было.

-- Может быть, мне пойти за доктором? -- нетвердым голосом спросил Альберт, которому было неприятно, что он один ничего не делает.

-- Нет, не стоит, -- сказала мать. -- Мы уложим Пьера в постельку и тепло-тепло укутаем, он хорошенько выспится и завтра будет опять здоров. Правда, моя радость?

Мальчик не слушал. Когда отец хотел дать ему еще супу, он отрицательно покачал головой.

-- Не надо его заставлять, -- сказала мать. -- Пойдем, Пьер, я уложу тебя, и все будет опять хорошо.

Она взяла его за руку; он тяжело встал и вяло последовал за ней. Но в дверях он остановился, лицо его исказилось, он весь скорчился и в приступе тошноты изверг из себя все, что только что съел.

Верагут отнес его в спальню и предоставил матери. Зазвенели звонки, и слуги забежали вверх и вниз по лестнице. Художник сел несколько кусков, а в промежутках еще два раза забежал к Пьеру, который, раздетый и вымытый, уже лежал в своей медной кроватке. Затем пришла фрау Адель и сообщила, что ребенок успокоился; у него ничего не болит, и он, вероятно, заснет.

Отец обратился к Альберту:

-- Что Пьер ел вчера?

Альберт подумал и ответил, обращаясь не к отцу, а к матери:

-- Ничего особенного. В Брюкеншване я велел дать Пьеру молока и хлеба, а к обеду в Пегольцгейме нам подали макароны и котлеты.

-- А потом? -- допрашивал тоном инквизитора отец,

-- Он не хотел больше ничего. После обеда я купил у одного садовника абрикосов. Он съел только один или два.

-- Они были спелые?



-- Конечно. Ты, кажется, думаешь, что я нарочно расстроил ему желудок.

Мать заметила его раздражение.

-- Что с вами? -- спросила она.

-- Ничего, -- сказал Альберт.

-- Я ничего не думаю, -- продолжал Верагут, -- я только спрашиваю. Вчера ничего не случилось? У него не было рвоты? Или, может быть, он упал? Он не жаловался, что у него что-нибудь болит?

Альберт на все вопросы отвечал односложно "да" или "нет" и страстно желал, чтобы обед скорее кончился.

Когда отец еще раз на цыпочках вошел в спальню Пьера, он застал его спящим. Бледное детское личико выражало глубокую серьезность и упоение сном-утешителем.

В этот тревожный день Иоганн Верагут окончил свою большую картину. Испуганный и встревоженный до глубины души пришел он от больного Пьера, и ему было труднее, чем когда-либо, заглушить бушевавшие в нем мысли и найти то спокойствие, которое было секретом его силы, и которое он оплачивал такой дорогой ценой. Но воля его была сильна, ему удалось добиться своего, и в послеполуденные часы, при прекрасном мягком свете, картина получила последние маленькие поправки и необходимые штрихи.

Когда он положил палитру и сел перед картиной, его охватило ощущение пустоты. Он сознавал, что эта картина представляет собой нечто особенное, и что он много дал ей. Но себя самого он чувствовал опустошенным и как бы выжженным. И у него не было ни одной души, которой он мог бы показать свое творение. Друг был далеко, Пьер болен, а больше у него никого не было. Действие своей работы он почувствует, и отголоски на нее услышит только, из равнодушной дали, из газет и писем. Ах, это было ничто, меньше, чем ничто; обрадовать, наградить и подкрепить его могли бы теперь только взгляд друга или поцелуй возлюбленной.

В продолжение четверти часа он молча стоял перед своей картиной, которая впитала в себя силу и лучшие часы нескольких недель и сияла теперь перед его глазами, между тем как сам он, истощенный и исчерпанный, стоял перед своим творением, как перед чем-то чужим.

-- Ах, глупости, я продам ее, а на вырученные деньги, съезжу в Индию, -- пытаюсь быть циничным, сказал он себе.

Он запер дверь мастерской и пошел в дом взглянуть на Пьера. Мальчик спал. На вид ему было лучше, чем днем, лицо его от сна раскраснелось, выражение муки и безутешности исчезло.

-- Как это быстро проходит у детей! -- сказал он у двери шепотом жене.

Она слабо улыбнулась, и он увидел, что она тоже вздохнула свободнее, и что и ее тревога была сильнее, чем она показывала.

Ужин наедине с женой и Альбертом улыбался ему очень мало.

-- Я пойду в город, -- сказал он, -- и к ужину не вернусь.

Больной Пьер дремал в своей кроватке, мать спустила шторы и оставила его одного.

Ему снилось, что он медленно идет по саду. Все слегка изменилось, и было гораздо больше и обширнее, чем всегда, он шел, шел и никак не мог дойти до конца. Клумбы были красивее, чем ему когда-либо приходилось их видеть, но цветы казались все странно стеклянными, большими и необыкновенными, и все вместе сияло грустной, мертвой красотой.

С слегка сжавшимся сердцем обошел он круглую площадку с кустами, на которых росли крупные белые цветы; на одном из них сидела голубая бабочка и

спокойно пила сок. Было неестественно тихо, и на дорожках лежал не песок, а что-то мягкое, по чему ноги ступали, точно по ковру.

С другой стороны площадки навстречу ему шла мать. Но она не видела его и не кивнула ему головой, она печально смотрела перед собой и прошла мимо бесшумно, как дух.

А вскоре после этого, на другой дорожке, он увидел отца, а потом Альберта. И тот, и другой молча и сурово шел вперед, и ни один не видел его. Во власти каких-то чар они одиноко и чинно ходили вокруг, и, казалось, что так будет всегда, что никогда в их застывших глазах не появится ласковый блеск, а на лицах улыбка, никогда в этой непроницаемой тишине не раздастся звук, и никогда самый легкий ветерок не зашелестит неподвижными ветвями и листьями.

Самое худшее было то, что он сам не мог окликнуть их. Ему ничто не мешало сделать это, ничто у него не болело, но у него не было мужества и настоящей охоты; ему ясно было, что все так и должно быть, и что от возмущения все это стало бы только еще ужаснее.

Пьер медленно продолжал прогуливаться среди всего этого бездушного великолепия. В светлом мертвом воздухе, сверкая красками, стояли, точно не настоящие, тысячи цветов, а от времени до времени он снова встречал Альберта, или мать, или отца, и они проходили мимо него и друг мимо друга, все такие же застывшие и чужие.

Ему казалось, что это продолжается уже давно, может быть, годы, и те, другие времена, когда мир и сад были живыми, люди радостными и разговорчивыми, а сам он полон неудержимого веселья, -- те времена лежат невообразимо далеко, в глубоком прошлом. Может быть, всегда было так, как теперь, а прежнее было только прекрасным сном.

Наконец, он дошел до маленького каменного бассейна, где садовник прежде наполнял лейки и где сам он как-то держал несколько крошечных головастика. Неподвижная светло-зеленая вода отражала каменный край и свешивающиеся листья куста с желтыми цветами астр и казалась красивой, покинутой и почему-то несчастной, как все остальное... "Если упадешь туда, утонешь и умрешь", сказал как-то раз прежде садовник. Но она была совсем неглубока.

Пьер подошел к краю овального бассейна и нагнулся над ним.

В воде он увидел свое лицо. Оно было такое же, как лица остальных: старое, бледное и глубоко застывшее в равнодушной суровости.

Он увидел это с удивлением и испугом, и вдруг сознание скрытого ужаса и безысходной скорби его положения овладело им с чрезмерной силой. Он попробовал крикнуть, но не мог издать ни звука, хотел заплакать, но мог только искривить лицо и беспомощно оскалить зубы.

В этот момент опять показался отец, и Пьер повернулся к нему в чудовищном напряжении всех своих скованных душевных сил. Все его отчаявшееся сердце, измученное смертельным страхом и невыносимым страданием, устремилось, взывая о помощи, к отцу, который подходил в своем призрачном спокойствии и, казалось, снова не видел его.

"Папа!" -- хотел он крикнуть, и хотя не слышно было ни звука, сила его ужаса и отчаяния была так велика, что достигла одинокого. Отец повернул голову и посмотрел на него.

Он внимательно, своим ищущим взглядом художника, заглянул ему в глаза, слабо улыбнулся и слегка кивнул головой, ласково и сострадательно. Но ни во взгляде, ни в улыбке его не было утешения и ободрения, как будто теперь ничем нельзя было помочь. На момент тень любви и родственного страдания скользнула по его суровому лицу, и в этот короткий миг он показался Пьеру не могущественным отцом, а скорее бедным, беспомощным братом.

Затем он опять устремил взгляд вперед и медленно пошел дальше тем же равномерным шагом, которого он не прерывал.

Пьер следил за тем, как он шел все дальше и, наконец, совсем исчез из виду; маленький пруд, дорожка и сад потемнели перед его испуганными глазами и рассеялись, как туман. Он проснулся с болью в висках и пересохшим горлом, увидел, что лежит один в постели в полутемной комнате, удивленно попытался сообразить, в чем дело, но не мог ничего вспомнить и уныло повернулся на другой бок.

Лишь мало-помалу к нему вернулось полное сознание, и он облегченно вздохнул. Быть больным и лежать с головной болью было отвратительно, но это можно было перенести, это были пустяки в сравнении с смертельным страхом кошмарного сна.

Для чего все эти мучения? -- думал Пьер, ежась под одеялом. -- Зачем надо быть больным? Если это наказание--за что его наказывают? Он даже не съел ничего запрещенного, как когда-то, когда он расстроил себе желудок незрелыми сливами. Они были ему запрещены, и так как он все-таки сел их, он должен был нести последствия. Это было понятно. Но теперь? Почему он теперь лежит в постели, почему у него была рвота, и почему сейчас в висках у него так больно стучит?

Он уже давно лежал с открытыми глазами, когда в спальню вошла мать. Она подняла штору, и в комнату влился мягкий вечерний свет.

-- Ну, как тебе, детка? Ты хорошо спал?

Он не ответил. Лежа на боку, он поднял глаза и посмотрел на нее. Она удивленно выдержала взгляд: он был странно испытующий и серьезный.

"Жара нет", -- с облегчением подумала она.

-- Дать тебе чего-нибудь поесть?

Пьер слабо покачал головой.

-- Подумай, может быть, тебе чего-нибудь захочется.

-- Воды, -- тихо сказал он.

Она дала ему напиток, но он сделал только маленький глоток и опять закрыл глаза.

Вдруг из комнаты матери донеслись громкие звуки рояля. Широкой, все нараставшей волной прорезали они тишину.

-- Слышишь? -- спросила фрау Адель.

Пьер широко раскрыл глаза, и лицо его исказилось, точно от боли.

-- Не надо! -- крикнул он.-- Не надо! Оставьте меня в покое!

И он обеими руками заткнул себе уши и зарылся головой в подушку.

Фрау Верагут со вздохом пошла просить Альберта прекратить игру. Затем она вернулась к Пьеру и сидела у его кровати до тех пор, пока он не задремал опять.

В этот вечер в доме было совсем тихо. Верагута не было, Альберт был не в духе и страдал оттого, что не мог играть на рояле. Все рано легли спать, и мать оставила свою дверь открытой, чтобы услышать, если Пьеру ночью что-нибудь понадобится.

## XI.

Вернувшись вечером из города, художник тихонько обошел весь дом, внимательно глядя, не освещено ли где-нибудь окно, и прислушиваясь, не скажет ли ему скрип двери или звуки голосов, что его любимец все еще болен и страдает. Когда он убедился, что все тихо, и весь дом погружен в мирный сон, страх спал с него, как тяжелое мокрое платье, и он долго еще лежал в постели с преисполненным благодарностью сердцем. Уже засыпая, он улыбнулся при мысли о том, как мало надо, чтобы вселить радость в робкую душу. Все, что его мучило и угнетало, все тяжелое бремя его жизни превратилось в ничто, показалось ему

легким и незначительным рядом с тревогой о любимом ребенке. И едва только эта мрачная тень исчезла, все показалось ему светлее, и все невыносимое представилось сносным.

В прекрасном настроении он пришел утром в дом в необычно ранний час и с радостью, узнал, что мальчик еще спит здоровым, крепким сном. Он позавтракал наедине с женой, так как Альберт тоже еще не вставал. Уже много лет не случалось, чтобы Верагут был в доме в этот час, и фрау Адель с почти недоверчивым изумлением наблюдала, как он весело, точно это была самая обыкновенная вещь, просил чашку кофе и, словно в старые времена, делил с ней завтрак.

В конце концов, ему самому бросились в глаза ее напряженно-выжидательное молчание и необычность этого часа.

-- Я так рад, -- сказал он голосом, напомнившим ей лучшие времена, -- я так рад, что с нашим малюткой все опять хорошо. Я только теперь вижу, что беспокоился не на шутку. '

-- Да, он мне вчера совсем не нравился, -- подтвердила она.

Он играл серебряной ложечкой и смотрел ей в глаза почти плутовски, с легким налетом внезапно вспыхивающей и столь же быстро улетающей ребяческой веселости, которую она когда-то любила в нем и нежное сияние которой унаследовал от него только Пьер.

-- Да,-- весело начал он, -- это, действительно, счастье! И теперь я могу, наконец, поговорить с тобой о моих новейших планах. Я думаю, что тебе следовало бы поехать зимой с мальчиками в Сен-Морис и остаться там подольше.

Она неуверенно опустила глаза.

-- А ты?-- спросила она.-- Ты хочешь там писать?

-- Нет, я не поеду с вами. Я вас всех на некоторое время предоставляю самим себе и уеду. Я думаю уехать осенью и запереть мастерскую. Останешься ли ты на зиму здесь, в Росгальде, зависит исключительно от тебя. Я бы тебе этого не советовал, поезжай лучше в Женеву или Париж и не забудь Сен-Мориса, Пьеру будет полезно побыть там.

Она растерянно подняла на него глаза.

-- Ты шутишь,-- недоверчиво сказала она. .

-- Ах, нет,-- полугрустно сказал он,-- я совсем разучился шутить. Это совершенно серьезно, и тебе придется поверить. Я хочу совершить морское путешествие и вернуться не скоро.

-- Морское путешествие?

Мысль ее напряженно работала. Его предложения я намек, его веселый тон,--все это было ей непривычно и внушало недоверие. Но вдруг слова "морское путешествие" вызвали в ней ясное, живое представление: она увидела, как он входит на пароход, а за ним носильщик несет его чемоданы, вспомнила картины на плакатах пароходных обществ и свои собственные поездки по Средиземному морю, и в один момент все стало ей ясно.

-- Ты едешь с Буркгардтом! -- вскричала она.

Он кивнул головой.

-- Да, я поеду с Отто.

Оба долго молчали. Фрау Адель была застигнута врасплох; она смутно чувствовала все значение этого известия. Может быть,

он хочет бросить ее и вернуть ей свободу? Во всяком случае, это была первая серьезная попытка в этом направлении, и в глубине души она ужаснулась, как мало возмущения, тревоги и надежды она вызвала в ней и как мало радости. Пусть для него была еще возможна новая жизнь -- для нее это было не так. Да, с Альбертом ей будет легче, и Пьер будет совсем ее, но она будет покинутой женой и останется

ею навсегда. Сотню раз она представляла себе этот момент, и он казался ей началом свободы и избавления; а теперь, когда мечта обещала стать действительностью, будущее представилось ей таким безотрадным, полным стыда и сознания вины, что она упала духом и не способна была больше чего-либо желать. Свобода должна была, прийти раньше, чувствовала она, во времена отчаяния и мятежных порывов, прежде чем она научилась смирению. Теперь же было слишком поздно, все это было бесполезно, казалось только чертой под законченной главою, итогом и горьким подтверждением всего скрытого, в чем не хотелось сознаваться даже себе, а главное, во всем этом не тлело искр нового жизненного соблазна.

Верагут внимательно наблюдал за замкнутым лицом жены, и ему было ее жаль.

-- Пусть это будет пробой,-- мягко сказал он.-- Вам надо попробовать пожить вместе без помех, тебе и Альберту... да и Пьеру, скажем, хоть год. Я подумал, что тебе это будет удобно, а для детей это, несомненно, очень хорошо. Они оба все-таки немного страдают оттого, что... что мы не сумели устроить свою жизнь. А нам самим в разлуке все станет яснее, не правда ли?

-- Возможно, -- тихо сказала она. -- Твое решение, кажется, бесповоротно.

-- Я уже написал Отто. Мне не легко уезжать от всех вас на такое долгое время.

-- Ты хочешь сказать, от Пьера.

-- Особенно от Пьера. Я знаю, что оставляю его в хороших руках. Только одно: я не могу ждать, что ты будешь ему много говорить обо мне; но не допускай, чтобы с ним было, как с Альбертом!

Она покачала головой.

-- Это была не моя вина, ты это знаешь.

Он осторожно положил ей руку на плечо с беспомощной, непривычной нежностью.

-- Ах, Адель, не будем говорить о вине. Пусть вся вила

будет на моей стороне. Ведь я только одного и хону: попытаться исправить, что можно; я прошу только, не дай мне потерять Пьера, если это возможно! Он еще связывает нас. Смотри, чтобы его любовь ко мне не стала ему в тягость.

Она закрыла глаза, точно защищаясь от искушения.

-- Если тебя не будет так долго... -- нерешительно сказала она.-- Он ребенок... .

-- Конечно. Пусть же он и останется ребенком! Пусть он забудет меня, если иначе невозможно! Но помни, что он залог, который я тебе оставляю, и помни, что я должен иметь много доверия, чтобы решиться на это.

-- Я слышу шаги Альберта, -- быстро прошептала она, -- он сейчас будет здесь. Мы еще поговорим об этом. Это не так просто, как ты думаешь. Ты даешь мне свободу, в большей степени, чем я когда-либо желала, и в то же время возлагаешь на меня ответственность, которая связывает меня по рукам и ногам! Дай мне еще подумать об этом. Ведь и ты принял свое решение не сразу, дай же и мне время собраться с мыслями.

За дверью послышались шаги, и вошел Альберт.

Он удивленно посмотрел на отца, смущенно поздоровался с ним, поцеловал мать и сел за стол.

-- У меня для тебя есть сюрприз, -- весело сказал Верагут.-- Осенние каникулы ты можешь провести с мамой и Пьером, где вам захочется, и Рождество тоже. Я уезжаю на несколько месяцев.

Юноша не мог скрыть своей радости; но он сделал над собой усилие и с интересом спросил:

-- Куда же ты едешь?

-- Я еще хорошенько не знаю. Прежде всего, я поеду с Буркгардтом в Индию.

-- О, так далеко! Один мой товарищ оттуда родом; кажется, из Сингапура. Там еще охотятся на тигров.

-- Я на это и рассчитываю. Если мне удастся застрелить тигра, я, конечно, привезу шкуру с собой. Но, главное, я хочу там писать.

-- Я это очень хорошо понимаю. Я читал об одном французском художнике, который был где-то в тропиках, на каком-то острове в Тихом океане, кажется, -- там должно быть великолепно.

-- Не правда ли? А вы пока будете веселиться, много заниматься музыкой и бегать на лыжах. Но теперь я пойду посмотреть, что делает маленький. До свиданья!

Он вышел, прежде чем кто-нибудь успел ответить.

-- Иногда папа бывает великолепен, -- сказал в своей радости Альберт.-- Это путешествие в Индию,-- в этом есть стиль.

Мать с трудом улыбнулась, ее равновесие было нарушено, и у нее было такое чувство, будто она сидит на подпиленном суке, готовом каждую минуту обрушиться. Но она молчала с приветливым видом -- в этом у нее было достаточно практики.

Художник вошел к Пьеру и сел у его кровати. Он тихо вынул узкий альбом и начал зарисовывать голову и руку спящего мальчика. Он хотел, не муча Пьера сеансами, по возможности удержать и запечатлеть его образ. Нежно и внимательно трудился он над милыми формами, над волнистыми извивами волос, красивыми нервными ноздрями, тонкой, безвольно покоившейся рукой и капризной породистой линией крепко сомкнутых губ.

Ему редко приходилось видеть мальчика в постели, и теперь он в первый раз видел его спящим не с ребячески раскрытыми губами. Он рассматривал этот рано созревший, вы-разительный рот, и ему бросилось в глаза сходство с ртом его отца, деда Пьера, который был смелым и одаренным живым воображением, но страстно беспокойным человеком. И в то время как он смотрел и работал, мысли его занимала эта полная глубокого смысла игра природы чертами и судьбами отцов, сыновей и внуков; он не был мыслителем, но на момент важная и прекрасная загадка следствия и необходимости коснулась его души.

Вдруг спящий открыл глаза и посмотрел на отца, и снова художника поразило, как недетски серьезны были этот взгляд и пробуждение. Он сейчас же положил карандаш и захлопнул альбом, нагнулся к проснувшемуся, поцеловал его в лоб и весело сказал;

-- Доброе утро, Пьер. Ну, что, как тебе? Лучше?

Мальчик счастливо улыбнулся и стал потягиваться. О, да, ему лучше, гораздо лучше. Он медленно припоминал. Да, вчера он был болен, он чувствовал еще грозную тень отвратительного дня. Но теперь ему было гораздо лучше, ему хотелось еще только немножко полежать и насладиться теплом и спокойной отрадой этого состояния; а потом он встанет, позавтракает и пойдет с мамой в сад.

Отец пошел позвать мать. Пьер, щурясь, смотрел на окна, где сквозь желтоватые шторы пробивался светлый, радостный день. Это был день, что-то обещавший, благоухавший всевозможными радостями. Как холодно, уныло и противно было вчера! Он закрыл глаза, чтобы забыть об этом, и почувствовал, как в еще тяжелых от сна членах играет жизнь.

Скоро пришла и мать. Она принесла ему в постель яйцо и чашку молока, а папа обещал новые краски, и все были так милы и нежны с ним, и радовались, что он опять здоров. Было совсем похоже на именины, а что не было пирога--это несколько не мешало, потому что настоящего голода он все еще не чувствовал.

Как только его одели в свежий синий костюмчик, он пошел к отцу в мастерскую. Отвратительный вчерашний сон он забыл, но в сердце его все еще дрожали отзвуки

ужаса и страдания, и у него была потребность убедиться, что вокруг него, в самом деле, солнце и любовь, и насладиться тем и другим.

Отец снимал мерку для рамы к своей новой картине и встретил его очень радостно. Но Пьер все-таки не хотел долго оставаться, он хотел только сказать "добрый день" и немножко почувствовать себя любимым. Ему надо было идти дальше, к со-баке и голубям, к Роберту и в кухню, надо было все снова приветствовать и принять во владение. Затем он пошел с матерью и Альбертом в сад, и ему казалось, что уже год прошел с тех пор, как он лежал здесь на траве и плакал. Качаться ему не хотелось, но он положил руку на качели; потом он пошел к кустам и клумбам, и на него, точно из прошлой жизни, повеяло каким-то смутным воспоминанием, как будто он когда-то блуждал здесь между клумбами, один, покинутый и безутешный. Теперь снова было светло, все было живое, пчелы пели, а воздух был такой легкий, и дышать им было так радостно.

Мать позволила ему нести свою цветочную корзинку, они бросали в нее гвоздику и большие георгины, но, кроме того, он сделал еще особый букет, -- его он хотел потом отнести отцу.

Вернувшись в дом, он почувствовал себя усталым. Альберт вызвался поиграть с ним, но Пьер захотел сначала немножко отдохнуть. Он удобно уселся на веранде в большое плетеное кресло матери, букет для отца он все еще держал в руке.

С ощущением приятной усталости он закрыл глаза и повернулся к солнцу, радуясь красному свету, тепло просачивавшемуся сквозь веки. Затем он с удовлетворением оглядел свой хорошенький, чистый костюм и стал вытягивать свои блестящие желтые сапожки на свет, попеременно то правый, то левый. Так славно было сидеть во всем этом уюте и чистоте и наслаждаться отдыхом. Только гвоздики пахли слишком сильно. Он положил их на стол и отодвинул подальше, насколько хватала рука. Надо будет поскорей поставить их в воду, а то они завянут, прежде чем отец их увидит.

Он думал о нем с необычайной нежностью. Как это было вчера? Он пришел к нему в мастерскую; папа работал, ему было некогда, и он так одиноко и прилежно и немного грустно стоял перед своей картиной. Все это он хорошо помнил. Но потом? Не встретил ли он потом отца в саду? Он напряженно старался вспомнить. Да, отец ходил взад и вперед по саду, один и с чужим страдальческим лицом, и он хотел позвать его... как это было? Произошло ли это вчера или упоминалось в разговоре что-то ужасное, но он никак не мог вспомнить, что именно.

Откинувшись на спинку глубокого кресла, он погрузился в мысли. Солнце освещало и грело его колени, но радостное чувство мало-помалу оставляло его. Он чувствовал, что его мысли все больше и больше приближаются к тому ужасному и что, как только он вспомнит его, оно снова завладеет им; оно стояло за его спиной и ждало. Каждый раз, как его воспоминания подходили близко к этой границе, в нем подымалось какое-то тягостное ощущение, похожее на дурноту и головокружение, а голова начинала слегка болеть.

Сильный запах гвоздик раздражал его. Они лежали на солнце и увядали, и если он хотел еще подарить их отцу, он должен был это сделать сейчас. Но ему уже не хотелось, т. е. ему, пожалуй, и хотелось, но он так устал, и от света у него разболелись глаза. А главное, ему надо было вспомнить, что такое случилось вчера. Он чувствовал, что уже близок к этому, и что ему нужно только схватить что-то мыслью, но это что-то все снова и снова ускользало от него.

Головная боль усиливалась. Ах, зачем это? Ему было сегодня так хорошо!

За дверью фрау Адель окликнула его и сейчас же сама вышла на веранду. Она заметила, что цветы лежат на солнце и хотела послать Пьера за водой, но в этот момент она увидела, что он, скорчившись, безжизненно лежит в кресле, а по щекам его катятся крупные слезы.

-- Пьер, дитяtko, что с тобой? Тебе нехорошо?

Он, не двигаясь, посмотрел на нее и опять закрыл глаза.

-- Скажи же, детка, что с тобой? Хочешь лечь? У тебя что-нибудь болит?

Он покачал головой, и лицо его выразило досаду, как будто она раздражала его.

-- Оставь меня,-- шепотом сказал он.

Она приподняла его и прижала к себе. Тогда в нем на момент как будто вспыхнуло бешенство, и он не своим голосом крикнул:

-- Оставь же меня!

Но сейчас же его сопротивление утихло, он скорчился в ее объятиях, и когда она его подняла, слабо застонал, с мучением нагнул голову и затрясся в припадке рвоты.

## XII.

С тех пор как Верагут жил один в своей маленькой пристройке, его жена едва ли раз была у него. Когда она, не стучась, быстро и взволнованно вошла в его мастерскую, он сейчас же понял, что случилось что-то серьезное. И так силен был в нем инстинкт, что еще прежде, чем она успела сказать слово, у него вырвалось:

-- Пьеру нехорошо?

Она торопливо кивнула головой.

-- Он, должно быть, серьезно болен. Он был такой странный, а только что у него опять была рвота. Тебе придется поехать за доктором.

В то время как она говорила, взор ее блуждал по пустой большой комнате и остановился на новой картине. Она не видела фигур, не узнала даже маленького Пьера, она только смотрела на полотно, вдыхала воздух комнаты, в которой ее муж жил все эти годы, и смутно чувствовала здесь такую же атмосферу одиночества и упрямой сосредоточенности в самом себе, в какой сама жила так давно. То был только момент, затем она отвела глаза от картины и постаралась ответить на порывистые, торопливые вопросы, которыми осыпал ее художник.

-- Пожалуйста, вызови сейчас же по телефону автомобиль, -- наконец, сказал он,-- это будет быстрее, чем на лошадях. Я сам поеду в город, только вымою руки. Я сейчас приду в дом. Ты, конечно, уложила его?

Четверть часа спустя он сидел в автомобиле и разыскивал единственного врача, которого знал и который и раньше иногда бывал в доме. На старой квартире его не было, он переехал. В поисках новой его квартиры он встретил его коляску, врач поклонился ему, он ответил и уже проехал мимо, когда вдруг сообразил, что это и есть тот, кого он ищет. Он повернул обратно и нашел экипаж врача перед домом одного из его пациентов; пришлось провести немало времени в тягостном ожидании. Наконец, он поймал выходившего врача в дверях дома и заставил его сесть в свой автомобиль. Врач отказывался и сопротивлялся, Верагуту пришлось усадить его почти насильно.

В автомобиле, который сейчас же с величайшей быстротой помчался к Росгальде, врач положил ему руку на колено и сказал:

-- Итак, я ваш пленник. Я должен заставить ждать других, которым я нужен. Вы это знаете. В чем же дело? Ваша жена больна? Нет? Значит, мальчик. Как, бишь, его зовут? Да, Пьер, верно. Я его давно уже не видел. В чем же дело? Он упал и сломал себе что-нибудь?

-- Он болен со вчерашнего дня. Сегодня утром ему как будто было совсем хорошо, он встал и немножко поел. Теперь у него вдруг опять рвота и, по-видимому, появились боли.

Врач провел художавой рукой по некрасивому, умному лицу.



-- Значит, желудок? Ну, мы увидим. А вообще у вас все благополучно? Прошлую зиму я видел в Мюнхене вашу выставку. Мы гордимся вами, почтеннейший.

Он посмотрел на часы. Оба замолчали. Автомобиль пыхтя поднимался в гору. Еще несколько минут, и он остановился у запертых ворот Росгальды.

-- Подождите меня! -- крикнул врач шоферу. Они быстро прошли через двор и вошли в дом. Мать сидела у постели Пьера.

У врача вдруг откуда-то взялось время. Он, не торопясь, исследовал больного, попытался заставить его разговориться, нашел ласковые и успокаивающие слова для матери и своим спокойствием и неторопливостью создал атмосферу доверия и деловитости, которая и на Верагут подействовала отрадно.

Пьер не выказывал ни малейшей предупредительности, он был молчалив и недоверчив. Когда ему щупали и давили живот, он насмешливо искривил рот, точно находя все эти старания излишними и смешными.

-- Отравления, по-видимому, нет, -- осторожно сказал врач, -- и в слепой кишке я тоже ничего не нахожу. Вероятнее всего, просто желудок засорен, а в таких случаях голодная диета и время -- лучшие лекарства. Не давайте ему сегодня ничего, разве только немножко крепкого чаю, если ему захочется пить, вечером можно будет дать ему также глоток бордоского. Если все будет хорошо, завтра можете дать ему на завтрак чай с сухариком. Если у него появятся боли, дайте мне знать по телефону.

Только у самого выхода фрау Верагут начала спрашивать. Но ответ был все тот же.

-- По-видимому, желудок порядочно расстроен, а ребенок, видимо, чувствительный и нервный. Жара никакого. Ведь вы можете вечером измерить температуру. Пульс немного слабоват. Если не будет лучше, я завтра опять приеду. Мне кажется, что ничего серьезного нет...

Он быстро простился и вдруг опять заторопился. Верагут проводил его до автомобиля.

-- Это может долго продлиться? -- спросил он в последний момент.

Врач сухо засмеялся.

-- Я не знал, что вы так мнительны, профессор. Мальчик немножко хрупкий, а испорченные желудочки бывали в детстве у нас всех. До свиданья!

Верагут знал, что в доме его присутствие излишне, и задумчиво побрел по полю. Сухие и деловитые манеры врача успокоили его, и он теперь сам удивлялся своему волнению и чрезмерной мнительности.

С облегченной душой шел он вперед, вдыхая жаркий воздух ясного утра. Ему казалось, что это его прощальная прогулка по этим лугам, сквозь ряды этих плодовых деревьев, и на душе у него было привольно и радостно. Когда он постарался дать себе отчет, откуда у него это новое ощущение развязки, чего-то решенного, ему стало ясно, что все это следствие утреннего разговора с фрау Адель. То, что он сообщил ей о своих планах и она так спокойно выслушала его и не сделала никаких попыток сопротивления, что теперь были отрезаны все пути к отступлению и ближайшее будущее было так ясно и несомненно, -- все это влияло на него благотворно, было источником успокоения и нового чувства собственного достоинства.

Не сознавая, куда идет, он свернул на тропинку, по которой шел несколько недель тому назад со своим другом Буркгардтом. Только когда дорога начала подниматься вверх, он увидел, где он, и вспомнил ту прогулку с Отто. Вот тот лесок со скамьей и таинственным просветом в светлый, картинный, далекий ландшафт голубоватой речной долины он хотел писать осенью, причем собирался посадить Пьера на скамью, так чтобы мягкая детская головка его выделялась в темном лесном свету.

Медленно взбирался он наверх, не чувствуя больше зноя близящегося полудня и напряженно ожидая момента, когда за гребнем холма навстречу ему выдвинется опушка леса. При этом ему вспоминался тот день с другом, вспоминались их беседы, отдельные слова и вопросы друга, еще почти весенний тон ландшафта, зелень которого с тех пор стала гораздо темнее и мягче. И внезапно его охватило чувство, которого он не испытывал уже давно и неожиданный возврат которого сильно напомнил ему времена юности. Ему вдруг представилось, что со дня той прогулки с Отто прошло много-много времени, и он с тех пор вырос, изменился и дошел вперед, так что, озираясь назад, мог смотреть на свое тогдашнее "я" с некоторой иронической жалостью.

Пораженный этим столь юношеским ощущением, которое лет двадцать тому назад было для него чем-то обыденным, а теперь коснулось его, точно редкие чары, он обежал мыслью короткий период этого лета и увидел то, чего не знал ни вчера, ни еще только что. Он увидел свет и твердое предчувствие пути там, где еще так недавно были только мрак и растерянность. Его жизнь как будто снова стала светлым, решительно мчащимся по предназначенному ему направлению потоком или рекой, тогда как раньше она столько времени медлила в тихом, болотистом озере и нерешительно вертелась вокруг своей оси. И ему стало ясно, что его путешествие не может привести его обратно сюда, что ему остается только проститься со всем здешним, как бы ни горело и ни истекало кровью его сердце. Его жизнь снова стала рекой, и поток ее решительно мчался к свободе и будущему. В душе, сам не отдавая себе в том ясного отчета, он уже расстался с городом и полями, с Росгальдой и женой.

Он остановился, глубоко дыша, захваченный волной ясновидящего предчувствия. Он подумал о Пьере, и режущая, безумная боль пронизала все его существо, когда ему стало ясно, что он должен будет пойти по этому пути до конца и расстаться также и с Пьером.

Он долго стоял с подергивающимся лицом, и если то, что он ощущал в душе, было жгучей болью, то это было все-таки жизнью и светом, заключало в себе ясность и перспективы будущего. Это было то, чего хотел от него Отто Буркгардт. Это был час, которого ждал друг. Старое, долго скрываемые нарывы, о которых он заговорил, были, наконец, вскрыты. Это было больно, очень больно, но с поконченными любимыми желаниями умирали также беспокойство и разлад, раздвоенность и оцепенение души. Его окружало сияние дня, беспощадно ясного, прекрасного, светлого дня.

Взволнованно прошел он несколько последних шагов до вершины пригорка и сел в тень на каменную скамью. Глубокое ощущение жизни пронизало его, точно возврат молодости, и он с благодарностью подумал о далеком друге, без которого он никогда не нашел бы этого пути, без которого застыл бы в своем болезненном оцепенении и остался навсегда в плену.

Однако долго раздумывать или предаваться крайним настроениям было несвойственно его натуре. Вместе с чувством выздоровления и восстановления утраченной воли им мощно овладело новое сознание деятельной силы и непобедимого личного могущества.

Он поднялся, открыл глаза и оживившимся взором властно окинул расстилавшуюся перед ним картину -- свою новую картину. Он долго смотрел сквозь лесную тень на далекую светлую речную долину. Все это он напишет и не станет ждать для этого осени. Ему предстояло разрешить деликатную задачу, преодолеть огромные трудности, разгадать чудесную загадку: этот удивительный просвет должен был быть написан с любовью, он должен был быть написан с такой любовью и тщательностью, с какими написал бы его какой-нибудь тонкий старый мастер, Альтдорфер или Дюрер. Здесь овладеть светом и его мистическим ритмом

не было единственной задачей, здесь каждая самая маленькая форма играла роль и должна была быть так же тщательно обдумана и взвешена, как травки в дивных полевых букетах его матери. Светлая, прохладная даль долины, вдвойне отодвинутая назад -- как теплым потоком света на переднем плане, так и лесной тенью,-- должна была сверкать на фоне картины, как драгоценный камень, холодный и чарующий, чуждый и манящий.

Он посмотрел на часы. Пора было идти домой. Он не хотел сегодня заставлять ждать жену. Но он все-таки вынул маленький альбом и, стоя на самом припеке на краю холма, несколькими сильными штрихами набросал остов своей картины: перспективные пропорции, общие контуры и многообещающий овал маленького прелестного вида вдали.

Благодаря этому, он немного запоздал и, не обращая внимания на жару, торопливо сбежал вниз по крутой, залитой солнцем тропинке. По дороге он обдумывал, что ему надо будет для работы, и решил завтра встать очень рано, чтобы увидеть ландшафт и в первом утреннем свете. На сердце у него было легко и весело, так как его снова ждала прекрасная, манящая задача.

-- Что Пьер? -- было его первым вопросом по возвращении.

Фрау Адель сообщила, что мальчик спокоен, но кажется усталым; болей у него, по-видимому, нет, и он лежит тихо и терпеливо. Самое лучшее не беспокоить его, он необыкновенно чувствителен и вздрагивает при каждом шорохе.

-- Ну, хорошо, -- сказал он с благодарным кивком головы,-- я зайду к нему потом, может быть, вечером. Извини, что я немного опоздал, я был в поле. Эти дни я буду работать на воздухе.

Они мирно позавтракали втроем. Сквозь спущенные жалюзи в прохладную комнату вливался зеленый свет, все окна были раскрыты, и в полуденной тишине слышно было, как журчал маленький фонтан во дворе.

-- Тебе нужно будет запастись для Индии многим, -- сказал Альберт.-- Ты возьмешь и охотничьи принадлежности с собой?

-- Не думаю, у Буркгардта есть все. Он уж посоветует мне. Я думаю, рисовальные принадлежности надо будет взять в запаянных жестяных ящиках.

-- Ты тоже будешь носить тропический шлем?

-- Непременно. Его можно будет купить по дороге.

Когда Альберт после завтрака ушел, фрау Верагут попросила мужа остаться. Она села в свое плетеное кресло у окна, и он перенес свой стул поближе к ней.

-- Когда же ты думаешь ехать? -- начала она.

-- О, это зависит исключительно от Отто, я, конечно, поеду тогда, когда и он. Я думаю, приблизительно, в конце сентября.

-- Уже так скоро? Я не могла еще хорошенько подумать об этом, Пьер отнимает у меня все время. Но я думаю, что ты не должен требовать от меня слишком многого.

-- Я и не требую, я сегодня еще раз обдумал все это. Я предоставляю тебе во всем полную свободу. Я понимаю, я не имею никакого права разъезжать по свету и при этом требовать, чтобы ты здесь считалась со мной. Ты должна во всем поступать так, как находишь нужным. Ты будешь иметь такую же свободу, на какую претендую я сам.

-- Но что будет с домом? Оставаться здесь одной мне бы не хотелось, -- здесь слишком уединенно и просторно, к тому же здесь слишком много воспоминаний, тяжелых для меня.

-- Я тебе уже сказал, поезжай, куда хочешь. Росгальда принадлежит тебе, ты это знаешь, а перед отъездом я на всякий случай оформлю это.

Фрау Адель побледнела. Она наблюдала за лицом мужа с почти враждебным вниманием.

-- Ты говоришь так, -- сдавленным голосом бросила она, -- как будто не думаешь вернуться.

Он задумчиво прищурился и опустил глаза.

-- Никогда нельзя знать. Я еще не имею понятия о том, сколько времени останусь там, но я не думаю, чтобы климат Индии был очень полезен для людей моего возраста.

Она строго покачала головой.

-- Я не это хотела сказать. Умереть можем мы все. Я говорю о том, имеешь ли ты вообще намерение вернуться.

Он долго молчал; наконец, слабо улыбнулся и встал.

-- Я думаю, об этом мы поговорим в другой раз. Помнишь, когда несколько лет тому назад мы обсуждали с тобой этот вопрос, мы поссорились. Это была наша последняя ссора. Мне не хотелось бы больше ссориться здесь, в Росгальде, особенно с тобой. Я предполагаю, что ты продолжаешь думать об этом так же, как тогда. Или теперь ты отдала бы мне мальчика?

Фрау Верагут молча покачала головой.

-- Я так и думал, -- спокойно сказал муж. -- Лучше не будем касаться всего этого. Повторяю, ты можешь располагать домом. Если тебе представится случай хорошо продать Росгальду, ты можешь это сделать!

-- Это конец Росгальды, -- тоном глубокой горечи сказала она.

И ей вспомнилось начало их жизни здесь, детские годы Альберта, все ее тогдашние надежды и ожидания. Так вот каков был конец всего этого!

Верагут, уже повернувшийся уходить, еще раз обернулся и мягко воскликнул:

-- Не смотри на это так трагично, дитя! Если ты не хочешь, тебе незачем продавать.

И он вышел из комнаты. Он снял цепь с собаки и зашагал к мастерской в сопровождении ликующего животного, с лаем прыгавшего вокруг него. Что была ему Росгальда! Она тоже входила в круг вещей, с которыми он не имел больше ничего общего. В первый раз в жизни он мог смотреть на жену сверху вниз. Он покончил со всем этим. Он принес в душе жертву, отказался от Пьера. С тех пор как он порвал эту последнюю цепь, все его существо было устремлено лишь вперед. Для него Росгальда больше не существовала, с ней было покончено, как со многими другими несбывшимися надеждами, как с молодостью. Сокрушаться об этом было бесполезно!

Он позвонил, и вошел Роберт.

-- Я несколько дней буду писать в поле. Приготовьте к завтрашнему утру мой маленький рисовальный ящик и зонтик. Разбудите меня в половине шестого.

-- Хорошо, барин.

-- Больше ничего. Погода, я думаю, продержится? Как вы думаете?

-- Я думаю, продержится... Извините, барин, я хотел вас о чем-то спросить.

-- В чем дело?

-- Извините, барин, но я слышал, что вы едете в Индию.

Верагут удивленно засмеялся.

-- Однако это быстро разошлось. Верно, Альберт разболтал. Ну, да, я еду в Индию, и вам нельзя будет ехать со мной, Роберт, это очень жаль. Там не держат слуг-европейцев. Но если потом вы опять захотите вернуться ко мне, я буду очень рад! А пока я постараюсь найти вам хорошее место; жалованье вы, конечно, получите до нового года.

-- Спасибо, барин, большое спасибо. Я хотел вас попросить оставить мне ваш адрес. Я вам напишу туда. Дело в том... это не так просто... дело в том, что у меня есть невеста...

-- Вот как! У вас есть невеста?

-- Да, барин, и если вы меня отпустите, я должен буду жениться. Дело в том, что я ей обещал, что если когда-нибудь уйду от вас, то уж не поступлю больше на место.

-- Тогда вы, значит, рады, что можете теперь уйти. Но мне очень жаль, Роберт. Что же вы думаете делать, когда женитесь?

-- Да вот она хочет открыть мне табачный магазин.

-- Табачный магазин? Роберт, для вас это не годится.

-- Извините, барин, надо же когда-нибудь попробовать. Но если вы позволите, нельзя ли мне было бы все-таки не уходить от вас? Позвольте спросить вас, барин.

Художник хлопнул его по плечу.

-- Ну, что это значит? Вы хотите жениться, хотите открыть какую-то глупую лавку и в то же время хотите остаться у меня? Тут что-то не так... Вам, кажется, не так уж хочется жениться, а, Роберт?

-- С вашего позволения, барин, не очень. Она-то девушка дельная, моя невеста, я ничего не говорю. Но я бы все-таки лучше остался здесь. Характер-то у нее уж очень язвительный и...

-- Да зачем же вам тогда жениться? Ведь вы ее боитесь! У вас ведь нет ребенка? Или?..

-- Нет, ребенка-то нет. Но она не дает мне покоя...

-- Тогда подарите ей хорошенькую брошку, Роберт, я дам вам талер на это. Отдайте ее вашей невесте и скажите ей, чтобы она поискала себе кого-нибудь другого для своей табачной лавки. Скажите ей, что я так сказал. И стыдитесь! Даю вам неделю срока. И тогда я узнаю, из тех ли вы, кого может запугать девушка, или нет.

-- Это-то так. Я ей скажу...

Верагут перестал улыбаться. Он гневно сверкнул глазами и резко сказал:

-- Вы прогоните девушку, Роберт, иначе у нас с вами все кончено. Тыфу, черт! Дать себя женить! Пойдите и устройте все это поскорей.

Он набил себе трубку, взял большой альбом и коробку с углем и отправился на холм.

### ХІІІ.

Голодная диета, по-видимому, помогала мало. Пьер Верагут лежал, скорчившись, в своей постельке, чашка чая стояла возле него нетронутая. Его по возможности оставляли в покое, так как он не отвечал, когда с ним заговаривали, и недовольно вздрагивал каждый раз, как кто-нибудь входил к нему в комнату. Мать просиживала целые часы у его постельки, не то бормоча, не то напевая ласковые и успокаивающие слова. На душе у нее было тревожно и жутко; маленький больной, казалось, упорно зарывался в какое-то тайное страдание. Он не отвечал ни на какие вопросы, просьбы или предложения, злыми глазами смотрел перед собой и не хотел ни спать, ни играть, ни пить, ни слушать чтение. Врач приезжал два дня подряд; он ничего не сказал и прописал теплые компрессы. Пьер часто погружался в легкую полудремоту, как это бывает с лихорадящими больными, тогда он что-то невнятно бормотал и в полузабытьи тихо бредил.

Верагут уже несколько дней писал в поле. Когда он с наступлением сумерек вернулся домой, первый его вопрос был о мальчике. Жена попросила его не входить в комнату больного, так как Пьер стал чувствителен к малейшему шуму, а теперь он как будто задремал. Так как фрау Адель была очень немногословна и со времени недавнего утреннего разговора держалась с ним принужденно и недружелюбно, он не стал ее расспрашивать. Он выкупался и провел вечер в приятно-взволнованном и беспокойном состоянии, которое испытывал всегда при

подготовке новой работы. Он сделал уже несколько этюдов и собирался завтра приступить к самой картине. Он с удовольствием выбирал картоны и полотна, чинил расшатавшиеся подрамники, собирал кисти и всевозможные рисовальные принадлежности и готовился так, как будто собирался в маленькое путешествие. Он приготовил даже кисет с табаком, трубку и огниво, точно турист, собирающийся рано утром начать восхождение на гору, а в ожидании, перед сном, с любовью думающий о завтрашнем дне и заботливо приготовляющий каждую мелочь для него.

Затем он велел подать себе стакан вина и принялся неторопливо просматривать вечернюю почту. Среди нее он нашел радостное, полное любви письмо от Буркгардта; к письму был приложен составленный с тщательностью хозяйки список всего того, что Верагут должен был взять с собой в дорогу. Художник с улыбкой прочел этот список, в котором не были забыты ни шерстяные набрюшники, ни морские туфли, ни ночные рубашки, ни гамаша. Внизу было приписано карандашом: "Обо всем остальном позабочусь я. Каюты я возьму тоже. Не давай себе навязывать средств от морской болезни или Путешествий по Индии, все это мое уж дело."

Он с улыбкой взял в руки большой сверток, в котором какой-то молодой дюссельдорфский художник присылал ему свои гравюры с почтительным посвящением. И для этого сегодня у него нашлось время и доброе настроение; он внимательно просмотрел картины и выбрал лучшие для своего портфеля, остальные он решил дать Альберту. Художнику он написал ласковое письмо.

Под конец он раскрыл свой альбом и долго рассматривал эскизы, которые сделал в поле. Все они не удовлетворяли его, он решил завтра попробовать сделать иначе, а если картина и тогда не выйдет, он будет делать этюды до тех пор, пока не добьется своего. Во всяком случае, он завтра хорошенько поработает, а там уж видно будет. И эта работа будет его прощанием с Росгальдой; несомненно, это был самый сильный и заманчивый пейзаж во всей местности, и он надеялся, что не даром все откладывал его. Он был слишком хорош, чтобы отделаться от него ремесленным этюдом, он заслуживал стать тонкой, обдуманной во всех мелочах картиной. Торопливая, похожая на состязание, работа среди природы, с трудностями, поражениями и победами, -- всем этим он сможет вполне насладиться в тропиках.

Он рано лег в постель и великолепно проспал всю ночь. Рано утром Роберт разбудил его; поживаясь от утреннего холода, он торопливо и радостно встал, выпил стоя чашку кофе и стал подгонять камердинера, который должен был нести за ним полотно, складной стул и ящик с красками. Через несколько минут он уже исчез в утренне-туманных лугах. Сначала он хотел было спросить в кухне, спокойно ли провел ночь Пьер, но дом был еще заперт, и все еще спали.

Фрау Адель до самой ночи сидела у постели мальчика, так как его как будто начало лихорадить. Она слушала его невнятное бормотанье, щупала ему пульс и поправляла подушки. Когда она сказала ему "Спокойной ночи" и поцеловала его, он открыл глаза и посмотрел ей в лицо, но не ответил. Ночь прошла спокойно.

Когда утром она вошла к нему, Пьер не спал. Он не хотел ничего есть, но попросил книжку с картинками. Мать пошла за ней сама. Она подложила ему под голову вторую подушку, раздвинула занавеси и дала Пьеру книгу в руки; она была раскрыта на картинке с большим, сверкающим золотисто-желтым солнцем, которую он особенно любил.

Он поднес книгу к глазам, -- ясный, радостный утренний свет упал на листок. Но сейчас же по нежному личику ребенка скользнула темная тень страдания, разочарования и отвращения.

-- Фу, как больно! -- с мучением вскрикнул он и выронил книгу.

Она подхватила ее и еще раз поднесла к его глазам.

-- Ведь это твое любимое солнышко, -- уговаривала она его.

Он закрыл глаза руками.

-- Нет, убери ее. Оно такое ужасно желтое!

Она со вздохом убрала книгу. Бог знает, что это с мальчиком! Он всегда был чувствительный и капризный, но таким он никогда еще не был.

-- Знаешь, что, -- мягко и успокаивающе сказала она, -- сейчас я принесу тебе вкусный, горячий чай, и ты положишь в него сахар и выпьешь его с вкусным сухариком.

-- Я не хочу!

-- Ты только попробуй! Вот увидишь, тебе понравится.

Он посмотрел на нее с выражением муки и бешенства.

-- Но я же не хочу!

Она вышла и долго не возвращалась. Пьер, щурясь, смотрел на свет, -- он казался ему необыкновенно ярким и причинял боль. Он отвернулся. Неужели же для него не было больше утешения, ни капли удовольствия, ни тени радости? Упрямо и раздраженно он зарылся головой в подушки и сердито впился зубами в мягкое, пресно пахнущее полотно. Это было возвращением забытой детской привычки. В самом раннем детстве у него была привычка, когда его укладывали в постель, и он не мог сразу заснуть, кусать свою подушку и равномерно, как будто в такт, жевать ее до тех пор, пока не приходила усталость и глаза не смыкались сами собой. Это он сделал и теперь и мало-помалу впал в состояние приятного легкого одурения и долго лежал спокойно.

Через час снова вошла мать. Она нагнулась к нему и сказала:

-- Ну, что, теперь Пьер будет умницей? Ты был очень нехороший мальчик и очень огорчил маму.

В другие времена это было сильное средство, против которого он почти никогда не мог устоять, и, произнося теперь эти слова, она немножко опасалась, чтобы он не принял их слишком к сердцу и не расплакался.

Но он как будто совсем не обратил внимания на ее слова, и когда она, на этот раз уже немного строго, спросила: "Ты сознаешь, что вел себя нехорошо?" -- он почти презрительно искривил рот и остался совершенно равнодушен.

Сейчас же после этого пришел врач.

-- Была опять рвота? Нет? Отлично. А ночь была хорошая? Что он ел?

Когда он приподнял мальчика и повернул его лицом к свету, Пьер опять содрогнулся, точно от боли, и закрыл глаза. Врач внимательно наблюдал за странно - интенсивным выражением отвращения и муки на детском лице.

-- Он так же чувствителен и к звукам? -- шепотом спросил он фразу Адель.

-- Да, -- тихо ответила она, -- мы совсем не смеем играть на рояле, а то он приходит прямо в бешенство.

Врач кивнул головой и задернул занавеси. Затем он поднял мальчика, выслушал сердце и маленьким молоточком постучал по сухожилиям под коленными чашками.

-- Ну-с, отлично, -- ласково сказал он, -- теперь мы оставим тебя в покое, мой мальчик.

Он осторожно опять положил его, взял его руку и с улыбкой кивнул ему на прощанье.

-- Можно мне на минутку к вам? -- галантно спросил он и пошел за фразу Верагут в ее комнату.

-- Ну, расскажите мне еще о вашем мальчике, -- поощрительно сказал он. -- Мне кажется, он очень нервный, и нам с вами придется хорошенько поухаживать за ним. С желудком у него пустяки. Он непременно должен опять начать есть.

Тонкие, питательные вещи: яйца, бульон, свежие сливки. Попробуйте дать ему яичный желток. Если он охотнее ест сладкое, разбейте его в чашке с сахаром. А теперь скажите, не бросилось ли вам в глаза еще что-нибудь в нем?

Встревоженная и в то же время успокоенная его уверенным и ласковым тоном, она начала рассказывать. Больше всего ее пугала безучастность Пьера. Ему все равно, просят ли его, или бранят, -- он равнодушен ко всему. Она рассказала о книжке с картинками, и он кивнул головой.

-- Не трогайте его! -- сказал он, вставая. -- Он болен и в данный момент не ответствен за свои выходки. Оставляйте его по возможности в покое! Если у него будет болеть голова, прикладывайте лед. А вечером сделайте ему теплую ванну и держите его в ней подольше,-- это усыпляет.

Он простился и не позволил ей проводить себя по лестнице.

-- Смотрите, чтобы он сегодня что-нибудь съел! -- еще раз сказал он, уходя.

Внизу он вошел в открытую дверь кухни и спросил камердинера Верагута.

-- Позовите сюда Роберта! -- приказала кухарка служанке.-- Он должен быть в мастерской.

-- Не нужно, крикнул доктор.-- Я сам пойду туда. Нет, не надо, я знаю дорогу.

Он вышел из кухни с шуткой и, внезапно став серьезным и задумчивым, медленно зашагал под каштанами.

Фрау Верагут еще раз обдумала каждое слово, сказанное врачом, и никак не могла прийти к какому-нибудь заключению. Очевидно, он относился к нездоровью Пьера серьезнее чем раньше, но, в сущности, он не сказал ничего плохого и был так спокоен, что, по-видимому, серьезной опасности не было. Вероятно, это просто состояние слабости и нервного возбуждения, и нужно только терпение и хороший уход.

Она пошла в гостиную и заперла рояль, чтобы Альберт как-нибудь не забылся и не начал вдруг играть. И она стала обдумывать, в какую комнату можно было бы перенести инструмент, если бы это затянулось.

От времени до времени она ходила взглянуть на Пьера осторожно открывала дверь и прислушивалась, спит ли он, не стонет ли. Он лежал с открытыми глазами и апатично смотрел перед собой, и она печально уходила. Это равнодушие, замкнутость и угрюмость пугали и огорчали ее больше, чем самые сильные боли; ей казалось, что какая-то странная, призрачная пропасть отделяет его от нее, какие-то отвратительные, упорные чары, которых не могут разбить ее любовь и заботы! Здесь прятался низкий, гнусный враг, приемов и злых намерений которого никто не знал и для борьбы с которым не было оружия. Может быть, это готовилась какая-нибудь лихорадка, скарлатина или какая-нибудь другая детская болезнь.

Несколько времени она уныло сидела в своей комнате. Ей бросился в глаза букет спиреев; она нагнулась над круглым столом, красновато-коричневое дерево которого тепло и мягко блестело под белой прозрачной скатертью, и, закрыв глаза, погрузила лицо в мягкие летние цветы, упиваясь их сильным, сладким ароматом, в глубине которого ощущался таинственный горьковатый привкус.

Слегка опьяненная, она снова выпрямилась и рассеянно обвела взглядом цветы, стол и всю комнату. И вдруг волна горечи и печали залила ее душу. Во внезапном ясновидении ей представилась комната и стены, ковры и цветочный столик, часы и картины чуждыми и неимеющими отношения ни к ней, ни друг к другу. Она видела ковер свернутым, картины упакованными и все нагруженным на телегу, которая должна была увезти все эти вещи, не имевшие больше ни родины, ни души, в новое, неизвестное, безразличное место. Она видела Росгальду пустой, с закрытыми дверями и окнами, из клумб сада глядели на нее запустение и горе разлуки.



Это был лишь момент -- тихий, но настойчивый зов из мрака, мимолетное, отрывочное отражение будущего. И из глубины слепой жизни чувств настойчиво переходило в сознание: скоро она со своим Альбертом и больным Пьером останется без родины, муж покинет ее, и навсегда в душе ее останется холод и оцепенение стольких потерянных, лишенных любви лет. Она будет жить для детей, но собственной прекрасной жизни, которой она когда-то ждала от Верагута и на которую до последних дней хранила в глубине души тайную надежду, у нее больше не будет. Теперь уже поздно. И ей было холодно от сознания этого.

Но сейчас же ее здоровая натура возмутилась против такого малодушия. Ей предстояло тревожное время, Пьер был болен, и каникулы Альберта скоро кончались. Нет, это не годится, чтобы теперь и она размякла и стала прислушиваться к своей душе. Сначала пусть Пьер выздоровеет, Альберт уедет, а Верагут отправится в Индию, тогда будет время жаловаться на судьбу и выплакать себе глаза. Теперь же это не имеет никакого смысла, она не имеет на это права, нечего и думать об этом.

Вазу с цветами она поставила за окно. Она пошла в свою спальню, налила на носовой платок одеколону и помочила себе лоб, поправила перед зеркалом свою строгую, гладкую прическу и спокойными шагами направилась в кухню, чтобы самой приготовить завтрак для Пьера.

Немного погодя она вошла в комнату мальчика, усадила его на постели и, не обращая внимания на его сопротивление, строго и осторожно стала кормить его с ложечки яичным желтком. Затем она вытерла ему губы, поцеловала его в лоб, поправила постель и внушила ему, что теперь он должен быть умницей и немного поспать.

Когда Альберт вернулся с прогулки, она увела его на веранду, где легкий летний ветерок трещал в туго натянутых полосатых маркизах.

-- Доктор опять был, -- сообщила она.-- Он находит, что у Пьера нервы не в порядке, ему нужен полный покой. Мне очень жаль тебя, но играть на рояле теперь совсем нельзя будет. Я знаю, это жертва, мой мальчик. Может быть, было бы хорошо, если бы ты уехал на несколько дней в горы или в Мюнхен? Погода стоит такая хорошая. Папа, наверно, ничего не имел бы против.

-- Спасибо, мама, какая ты милая! Я, может быть, и в самом деле уеду на денек, но не больше. Ведь у тебя никого нет, кто был бы с тобой, пока Пьер в постели. И потом мне пора взяться за уроки, я все время ничего не делал. Лишь бы только Пьер поскорей выздоравливал!

-- Хорошо, Альберт, это славно с твоей стороны. Теперь, в самом деле, для меня нелегкое время, я рада, если ты побудешь возле меня. С папой ты теперь тоже лучше ладишь, -- ведь, правда? '

-- Ах, да, с тех пор как он решился на эту поездку. Впрочем, я его так мало вижу, он пишет целый день. Знаешь, иногда мне жаль, что я часто вел себя с ним так отвратительно -- он меня тоже мучил, но в нем есть что-то, что все-таки каждый раз снова импонирует мне. Он ужасно односторонен и в музыке понимает не много, но он все-таки большой художник, и у него есть жизненная задача. Это-то мне и импонирует. Что ему дает его знаменитость да в сущности и его деньги? Он работает не для них.

Он наморщил лоб, ища слов. Но он не мог выразиться так, как хотел, хотя чувствовал ясно и определенно. Мать улыбнулась и пригладила ему растрепавшиеся волосы.

-- Почитаем вечером опять по-французски? -- ласково спросила она.

Он кивнул головой и тоже улыбнулся, и вдруг ей показалось совершенно непонятным, как это, еще так недавно, она могла желать чего-нибудь иного, чем жить для своих сыновей.

#### XIV.

Незадолго до полудня Роберт появился на опушке леса, чтобы помочь своему господину нести домой рисовальные принадлежности. Верагут закончил новый этюд, который хотел нести сам. Он теперь знал точно, какой должна была быть картина, и думал справиться с ней в несколько дней.

-- Завтра утром мы опять отправимся в поход, -- весело воскликнул он, щуря утомленные глаза от ослепительного полуденного солнца.

Роберт, не торопясь, расстегнул свой пиджак и вынул из бокового кармана какую-то бумагу. Это был немного смятый конверт без надписи.

Вот велели вам передать, барин.

-- Кто велел?

-- Господин доктор. Он спрашивал вас часов в десять; но он сказал, чтобы я не отрывал вас от работы.

-- Хорошо. Ступайте!

Камердинер пошел с сумкой, складным стулом и мольбертом вперед, а Верагут остановился и, предчувствуя несчастье, вскрыл письмо. В нем была карточка врача с торопливо и неясно нацарапанными строками:

"Пожалуйста, приходите сегодня после обеда ко мне, мне хотелось бы поговорить с вами о Пьере. Его нездоровье более опасно, чем я нашел нужным сказать вашей жене. Не пугайте ее излишними опасениями, прежде чем мы с вами не поговорим".

Испуг захватил ему дыхание, но он усилием воли подавил его, заставил себя стоять спокойно и еще два раза внимательно перечел записку. "Более опасно, чем я нашел нужным сказать вашей жене!" Вот где было страшное! Его жена была не так хрупка или нервна, чтобы ее надо было так щадить из-за какого-нибудь пустяка. Значит, в самом деле, есть опасность, большая опасность, Пьер может умереть! Но ведь здесь сказано "нездоровье", это звучит так безобидно. И потом "излишние опасения". Нет, наверно, опасность еще не так велика. Может быть, что-нибудь заразительное, какая-нибудь детская болезнь. Может быть, доктор хочет изолировать его, поместить куда-нибудь в клинику?

По мере того, как он размышлял, он становился спокойнее. Медленно спустился он с холма и направился по дышащей зноем дороге домой. Во всяком случае, он сделает так, как хочет врач, и не даст жене ничего заметить.

Дома им, однако, овладело нетерпение. Не успев убрать картину и умыться, он побежал в дом -- мокрую картину он прислонил к стене на лестнице -- и тихо вошел в комнату Пьера. Его жена была там.

Он нагнулся к мальчику и поцеловал его в голову.

-- Здравствуй, Пьер. Ну, как ты?

Пьер слабо улыбнулся. Но сейчас же он дрожащими ноздрями потянул воздух и крикнул:

-- Нет, нет, уходи! От тебя так нехорошо пахнет!

Верагут послушно отошел от постельки.

-- Это просто скипидар, мой мальчик. Папа еще совсем не умывался, потому что хотел поскорей увидеть тебя. А теперь я пойду и переоденусь и тогда опять приду к тебе. Хорошо?

Он пошел к себе, захватив по дороге картину; в ушах его не переставая звучал жалобный голос мальчика.

За столом он расспросил, что сказал врач, и очень обрадовался, узнав, что Пьер поел, и рвоты больше не было. Но все-таки на душе у него было беспокойно, и ему было очень трудно поддерживать разговор с Альбертом.

После обеда он полчаса посидел у постели Пьера, который лежал спокойно и только иногда хватался за лоб, как будто у него болела голова. Со страхом и любовью созерцал он тонкий, вялый, болезненно искривленный рот и красивый светлый лоб, прорезанный, теперь между бровями маленькой вертикальной морщинкой, болезненной, но по-детски мягкой и подвижной морщинкой, которая исчезнет, когда Пьер выздоровеет. А он должен выздороветь, хотя тогда будет вдвое больнее уйти и оставить его. Он должен продолжать расти во всей своей прелести и лучезарной детской красоте и, как цветок, дышать на солнце, даже если он никогда больше не увидит его и должен будет сказать ему "прости" навек. Он должен выздороветь и стать прекрасным, жизнерадостным человеком, в котором будет продолжать жить лучшая, наиболее нежная и чистая часть души его отца.

Лишь теперь, сидя у кровати своего ребенка, он начал предчувствовать, сколько горького придется ему еще изведать, прежде чем все это останется позади него. Его губы дрогнули, в сердце как будто что-то ужалило, но он чувствовал, что, глубоко под всем страданием и страхом, решение его остается непоколебимым. С этим было покончено, никакое горе и никакая любовь не могли что-либо изменить здесь. Но ему еще предстояло пережить это последнее время и не уклоняться от страдания" и он был готов испить чашу до дна, потому что в последние дни он ясно чувствовал, что только через эти темные врата ведет для него путь к жизни. Если он теперь окажется трусом, если он теперь бежит, спасаясь от страдания, он перенесет с собой тину и яд и в другую жизнь и никогда не достигнет чистой свободы, которой жаждет и для которой готов на всякую жертву.

Но прежде всего ему надо поговорить с доктором. Он встал, нежно кивнул Пьеру и вышел из комнаты. Ему пришло в голову попросить Альберта свезти его, и он направился к его комнате, в первый раз за все это лето. Он громко постучал в дверь.

-- Войдите!

Альберт сидел у окна и читал. Он торопливо встал и с изумленным видом пошел навстречу отцу.

-- У меня к тебе маленькая просьба, Альберт. Не можешь ли ты меня сейчас отвезти в коляске в город? Можешь? Это хорошо. Тогда будь так добр и помоги сейчас же запрячь, я немного тороплюсь. Хочешь сигару?

-- Да, спасибо. Я. сейчас пойду в конюшню.

Скоро они сидели в коляске, Альберт в качестве кучера на козлах. На углу одной из улиц Верагут попросил его остановиться и, поблагодарив, простился.

-- Спасибо. Ты сделал успехи и хорошо справляешься с лошадьми. Ну, до свидания, я вернусь пешком.

Он быстро пошел по пышущей зноем улице. Врач жил в тихой, аристократической части города, где в это время дня нельзя было встретить ни души. Только телега с поливальной бочкой сонно плелась по дороге, да за ней бежали два маленьких мальчика, подставляя руки под тонкий дождь капель и со смехом брызгая друг другу в раскрасневшиеся личики. Из открытого окна какого-то дома доносились вялые, монотонные упражнения на рояле. Верагут всегда питал глубокое отвращение к неживым улицам, в особенности летом: они напоминали ему молодые годы, когда он жил на таких улицах в дешевых, скучных комнатах с запахом кофе и кухни на лестнице и с видом на слуховые окна, вешалки для выбивания ковров и до курьеза маленькие сады.

В коридоре среди больших ковров и картин в золотых рамах чуть пахло лекарствами. Молодая горничная в длинном белоснежном, как у сиделок, переднике взяла у него карточку. Она ввела его сначала в приемную, где в обитых плюшем креслах тихо и уныло сидели, уткнувшись в газеты, несколько женщин и один мужчина, а затем, по его просьбе, в другую комнату, где на полу большими,

перевязанными веревочкой пачками были сложены в кучу выпуски специального медицинского журнала за много лет. Он едва успел здесь немного осмотреться, как девушка опять вошла и ввела его в кабинет врача.

И вот он сидит в большом кожаном кресле среди сверкающей чистоты, во всей этой атмосфере суровой плановости, а напротив, за письменным столом, выпрямившись, сидит маленький врач; в высокой комнате тихо, только блестящие стенные часы из стекла и меди звонко отбивают такт.

-- Да, ваш мальчик мне не нравится, милый маэстро. Не замечали ли вы в нем уже давно признаков нездоровья, например, головных болей, усталости, нежелания играть и тому подобное? Только в последнее время? А такая чувствительность у него давно? К шуму и яркому свету? К запахам? Ах, вот как! Он не мог переносить запаха красок в мастерской? Да, это согласуется со всем остальным.

Он спрашивал много, и Верагут отвечал в каком-то легком отупении, с боязливым вниманием прислушиваясь к каждому вопросу и втайне восхищаясь их осторожной и точной постановкой.

Вопросы начали становиться все реже, и, наконец, наступила продолжительная пауза. Тишина нависла в комнате, точно туча, лишь тонкое пронзительное тиканье маленьких кокетливых часов нарушало ее.

Верагут отер пот со лба. Он чувствовал, что настало время узнать правду, а так как врач сидел, как каменный, и молчал, его охватил болезненный, парализующий страх. Он вертел головой, точно воротник давил его, и не мог произнести ни слова.

-- Неужели же это так опасно? -- наконец, вырвалось у него.

Врач повернул к нему желтое, утомленное лицо, посмотрел на него бледным взглядом и кивнул головой.

-- Да, к сожалению. Очень опасно, господин Верагут.

Он продолжал внимательно и выжидательно смотреть на него. Художник побледнел, и руки его опустились. Твердое, костлявое лицо приняло выражение слабости и беспомощности, рот потерял свои твердые очертания, а глаза блуждали, не видя. Затем губы искривились и слегка задрожали, а веки опустились на глаза, как будто он готов был лишиться чувств. Врач наблюдал и ждал. И вот рот художника принял обычное выражение, усилие воли вернуло жизнь глазам, только глубокая бледность осталась. Врач понял, что художник готов его слушать.

-- Что же это, доктор? Говорите все, вам незачем щадить меня. Вы ведь не думаете, что Пьер умрет?

Врач придвинул свой стул немного ближе. Он говорил совсем тихо, но резко и отчетливо.

-- Этого никто не может сказать. Но если я не ошибаюсь, мальчик очень опасно болен.

Верагут посмотрел ему в глаза.

-- Он умрет? Я хочу знать, думаете ли вы, что он умрет. Поймите, я хочу это знать.

Художник, сам того не сознавая, встал и как бы с угрозой сделал шаг вперед. Врач положил ему руку на плечо, он вздрогнул и, точно устыдившись, опять упал в кресло.

-- Так говорить нельзя, -- начал врач, -- Жизнь и смерть не в наших руках; нам, врачам, самим жизнь ежедневно преподносит сюрпризы в этом отношении. Для нас ни один больной, пока он дышит, не безнадежен. Иначе до чего бы мы дошли!

Верагут покорно кивнул головой.

-- Но что же у него? -- только спросил он.

Врач коротко кашлянул.

-- Если я не ошибаюсь, у него воспаление мозговой оболочки.

Верагут не шевельнулся и только тихо повторил название болезни. Затем он поднялся и протянул врачу руку.

-- Итак, воспаление мозговой оболочки, -- сказал он, медленно и осторожно произнося слова, так как губы его дрожали, как в сильный мороз.-- Разве это вообще излечимо?

-- Излечимо все, господин Верагут. Один ложится в постель с зубной болью и через несколько дней умирает, другой проявляет все симптомы самой тяжелой болезни и остается в живых.

-- Да, да. И остается в живых! Теперь я пойду, доктор. Я вам доставил много хлопот. Значит, воспаление мозговой оболочки не излечимо?

-- Милый маэстро...

-- Простите. Вам, может быть, приходилось уже лечить других детей с этим... с этой болезнью? Да? Вот видите! Эти дети остались живы?

Врач молчал.

-- Живы ли хоть двое из них или, может быть, хоть один?

Ответа не было. Врач как бы нехотя повернулся к письменному столу и открыл ящик.

-- Не теряйте мужества! -- изменившимся голосом сказал он.-- Останется ли ваш ребенок в живых, мы не знаем. Он в опасности, и мы должны помогать ему, насколько можем. Мы все должны ему помогать, понимаете, и вы тоже. Вы мне нужны. Я вечером заеду еще раз. На всякий случай я дам вам сонный порошок, может быть, он понадобится вам самому. А теперь слушайте: мальчику нужен полный покой и усиленное питание. Это главное. Вы будете это помнить?

-- Конечно. Я ничего не забуду.

-- Если у него будут боли или он будет очень беспокоен, помогают теплые ванны или компрессы. У вас есть пузырь для льда? Я привезу с собой. У вас ведь есть лед? Ну, отлично. Не будем терять надежды! Это не годится, чтобы теперь кто-нибудь из нас утратил мужество, мы должны все быть на посту. Не правда ли?

Движение руки Верагута успокоило его. Он проводил его до двери.

-- Хотите воспользоваться моей коляской? Она будет нужна мне только в пять часов.

-- Благодарю вас, я пойду пешком.

Он пошел по улице, которая была пуста, как и раньше. Из того открытого окна все еще доносилась унылая ученическая музыка. Он посмотрел на часы: прошло только полчаса. Медленно пошел он дальше, переходя с одной улицы на другую, и обошел так полгорода. Ему было страшно покинуть его. Здесь, в этой убогой грудке домов, болезни и запах лекарств, горе, страх и смерть были как бы на месте, здесь сотни безрадостно томящихся улочек делили с ним все тяжелое, и одиночество не так чувствовалось. Но за городом, казалось ему, под деревьями и ясным небом, среди звона кос и стрекотания кузнечиков, мысль обо всем этом должна быть еще гораздо ужаснее, гораздо бессмысленнее, гораздо страшнее.

Был уже вечер, когда он, запыленный и смертельно усталый, вернулся домой. Врач уже побывал, но фрау Адель была спокойна и, по-видимому, еще ничего не знала.

За ужином Верагут разговаривал с Альбертом о лошадях. Он делал все новые замечания, и Альберт с готовностью отвечал на них. Они видели только, что отец очень устал, больше ничего. Он же в это время с почти насмешливой злобой думал: "Если бы на лице у меня была написана смерть, они и тогда ничего не заметили бы! Это моя жена, и это мой сын! А Пьер умирает!" Эти печальные мысли вертелись в его голове в то время, как язык, тяжело поворачиваясь, произносил слова, которые никого не интересовали. А затем к ним присоединилась еще новая мысль: "Хорошо! Я один выпью нашу страдания до последней капли. Я буду сидеть и

лицемерить и видеть, как умирает мой бедный малютка. И если я и тогда буду продолжать жить, ничто больше не будет связывать меня, ничто не смолит причинить мне горя. Тогда я уйду и никогда в жизни не буду больше лгать, никогда не поверю любви, никогда не буду трусливо выжидать... Я буду знать только жизнь и работу, буду идти вперед без усталости и отдыха".

С мрачным сладострастием чувствовал он, как горит страдание в его душе, бурное и невыносимое, но чистое и большое, какого он еще никогда не испытывал, и перед этим божественным пламенем его маленькая, неискренняя и уродливо сложившаяся жизнь исчезала, как нечто ничтожное, недостойное ни одной мысли, недостойное даже осуждения.

С такими мыслями сидел он вечером в полутемной комнате у кровати больного и с теми же мыслями пролежал всю длинную, бессонную ночь, с упоением отдаваясь своему жгучему, едкому горю, ни на что не надеясь, в одной только жажде: быть сожженным и очищенным этим огнем до последнего фибра души. Он понял, что так и должно быть: чтобы он отдал самое милое, лучшее и чистое, что у него есть, и видел, как оно умирает.

## XV.

Пьеру было плохо, и отец просиживал возле него почти целые дни. У мальчика все время болела голова, дыхание его сделалось прерывистым и вырывалось из груди легкими болезненными стонами. Иногда его маленькое, худенькое тельце потрясали мелкие судороги, иногда же оно все корчилось и круто извивалось. После этого он долго лежал совершенно неподвижно, а в конце концов, на него нападала судорожная зевота. Потом он засыпал на часок, а после пробуждения опять начинались эти правильные, жалобные не то вздохи, не то стоны.

Он не слышал, что ему говорили, а когда его почти насильно приподнимали и давали есть, он глотал все машинально и равнодушно. При слабом свете дня -- занавеси были плотно сдвинуты -- Верагут подолгу сидел, нагнувшись над мальчиком и с глубоким вниманием наблюдая за его лицом. Сердце его застывало при виде того, как из хорошенького, столь знакомого детского личика исчезала одна милая, нежная черточка за другой. Оставалось бледное, старческое лицо, зловещая маска страдания с обострившимися чертами, в которых нельзя было прочесть ничего, кроме боли, отвращения и глубокого ужаса.

Иногда в минуты дремоты это искаженное лицо смягчалось, и к нему возвращался проблеск утраченного очарования его прежних дней. Тогда отец жадно, не отрывая глаз, смотрел на него, точно стремясь упиться и запечатлеть в себе навсегда всю эту умирающую прелесть. Тогда ему казалось, что всю свою жизнь, до этих минут последнего созерцания, он не знал что такое любовь.

Фрау Адель долго ни о чем не догадывалась; лишь мало-помалу напряженность и странная рассеянность Верагута бросились ей в глаза и стали внушать подозрения. Но еще несколько дней прошло, прежде чем она начала догадываться в чем дело. Однажды вечером, когда он вышел из комнаты Пьера, она отвела его в сторону и коротко, тоном, в котором чувствовались обида и горечь, сказала:

-- Что такое с Пьером? Что у него? Я вижу, что ты что-то знаешь.

Он посмотрел на нее, точно очнувшись от глубокой задумчивости, и пересохшими губами ответил!

-- Я не знаю, дитя. Он очень болен. Разве ты этого не видишь?

-- Я вижу. Но я хочу знать, что это! Вы с доктором обращаетесь с ним так, как будто он при смерти. Что тебе сказал доктор?

-- Он сказал мне, что Пьер опасно болен, и мы должны хорошенько ухаживать за ним. У него какое-то воспаление в голове. Попросим завтра доктора, чтобы он сказал нам подробнее, в чем дело.

Она прислонилась к книжному шкафу и схватилась рукой за складки зеленой занавески. Так как она молчала, он продолжал терпеливо стоять. Лицо у него было серое, а глаза казались воспаленными. Руки его слабо дрожали, но он стоял спокойно, и на лице его был проблеск улыбки -- странная смесь покорности, терпения и вежливости.

Она медленно подошла к нему и положила ему руку на плечо. Колени у нее подгибались. Еле слышно она прошептала: ты думаешь, что он умрет?

На лице Верагута все еще была слабая, бессмысленная улыбка, но по щекам его быстро катились слезы. Он только слабо кивнул головой в ответ. Она соскользнула вниз и опустилась на пол. Он поднял ее и усадил на стул.

-- Этого нельзя знать наверно, -- медленно и с трудом сказал он, точно с отвращением повторяя давно надоевший урок. -- Мы не должны терять мужества.

Она овладела собой и выпрямилась на стуле.

-- Мы не должны терять мужества, -- машинально повторил он.

-- Да, -- сказала она, -- да, ты прав.

Наступила пауза.

-- Это не может быть, -- опять сказала она, -- это не может быть.

И вдруг она встала, глаза ее оживились, а лицо выразило понимание и скорбь.

-- Не правда ли, -- громко сказала она, -- ты не вернешься больше? Я знаю. Ты покинешь нас?

Он понял, что в такую минуту нельзя было ей лгать. И он коротко и беззвучно ответил:

-- Да.

Она покачала головой, как будто ей надо было хорошенько подумать и трудно было справиться с мыслями. Однако, то, что она сказала, не было продуктом раздумья и размышлений, а проистекало бессознательно из мрачной безутешности этой минуты, из душевной усталости, а главное, из смутной потребности что-то исправить и сделать добро кому-нибудь, кому еще можно было его сделать.

-- Да, -- сказала она, -- я так и думала. Но слушай, Иоганн, Пьер не должен умереть! Не должно все рухнуть разом! И знаешь, я хочу тебе сказать еще одно: если он выздоровеет, бери его себе. Слышишь? Я отдаю его тебе.

Верагут понял не сразу. Лишь мало-помалу ему стало ясно, что она сказала. То, о чем он спорил с ней и из-за чего колебался и страдал столько лет, должно было достаться ему теперь, когда было уже поздно!

Невыразимой бессмыслицей представилось ему не только это что теперь вдруг она отдавала ему то, в чем отказывала так долго -- но еще больше то, что Пьер оказывался принадлежащим ему как раз в тот, момент, когда был обречен смерти. Теперь он умрет для него вдвойне! Это было нелепо до смешного! В этом было что-то такое причудливое и противное здравому смыслу, что он и в самом деле был близок к тому, чтобы разразиться горьким смехом.

Но она, несомненно, говорила серьезно. Она, видимо, все еще не верила хорошенько, что Пьер умрет. Это было великодушно, это была огромная жертва с ее стороны, -- жертва, которую в горестном смущении этой минуты она захотела принести из какого-то смутного доброго побуждения. Он видел, как она страдала, как она была бледна и с трудом держалась на ногах. Он не должен был показывать, что ее жертва, ее странное запоздалое великодушие казались ему убийственной насмешкой.

Она начинала уже с удивлением ждать от него ответа. Неужели он ей не верит? Или он стал ей таким чужим, что не хочет ничего принять от нее, даже этой величайшей жертвы, которую она может принести ему?

Ея лицо уже начинало подергиваться от разочарования, когда он, наконец, овладел собой. Он взял ее руку, нагнулся и, слегка прикоснувшись к ней холодными губами, сказал:

-- Благодарю тебя.

В этот момент ему пришла в голову новая мысль, и более теплым тоном он прибавил:

-- Но теперь я хочу тоже ухаживать за Пьером. Позволь мне дежурить при нем ночью!

-- Мы будем меняться,-- решительно сказала она.

Пьер в этот вечер был очень спокоен. На столе горел маленький ночник, слабый свет которого не наполнял комнаты и у двери терялся в коричневом полумраке. Верагута долго прислушивался к дыханию ребенка; затем он лег на узкий диван, который велел внести для себя.

Ночью, часа в два, проснувшаяся фрау Адель зажгла огонь и встала. Набросив пеньюар, она со свечой в руке пошла в комнату мальчика. Здесь царил тишина. Пьер слегка пошевелил ресницами, когда свет коснулся его лица, но не проснулся. А на диване лежал, скорчившись, совсем одетый, ее муж и спал.

Она поднесла свечу и к его лицу и немного постояла возле него. И она увидела его лицо таким, каким оно было в действительности, без притворства, со всеми его морщинами и поседевшими волосами, с дряблыми щеками и глубоко запавшими глазами.

"Он тоже постарел", -- подумала она со смешанным чувством жалости и удовлетворения и чуть не поддавшись искушению погладить его взъерошенные волосы. Но она все-таки не сделала этого. Она неслышно вышла из комнаты, а когда через несколько часов, уже утром, она пришла опять, он давно внимательно и сосредоточенно сидел у постели Пьера, и его рот был опять крепко сжат, а взгляд, которым он приветствовал ее, был снова полон таинственной силы и решимости, в которые он в последние дни облекся, точно в панцирь.

Для Пьера наступивший день оказался очень плохим. Он долго спал, а затем лежал с открытыми глазами и неподвижным взглядом, пока его не разбудила новая волна болей. Он яростно метался по постели, сжимал маленькие кулачки и прижимал их к глазам, лицо его было то мертвенно-бледно, то огненно-красно. И, наконец, в бессильном возмущении против невыносимых страданий, он начал кричать и кричал так долго и так ужасно, что отец не мог больше слушать и, бледный и уничтоженный, должен был уйти из комнаты.

Он вызвал врача; тот приезжал в этот день еще два раза, а вечером привез с собой сиделку. К вечеру Пьер потерял сознание, сиделку послали спать, а отец и мать не ложились всю ночь. У обоих было чувство, что конец уже недалек. Мальчик не шевелился, дыхание было неравномерно, но с силой вырывалось из его груди.

И Верагута и его жене вспомнилось время, когда Альберт также был очень болен, и они вместе ухаживали за ним. И оба они чувствовали, что важные события не повторяются. Мягко и немного устало переговаривались они шепотом через кровать больного, но ни слова о прошлом, о том времени. В сходстве положений и событий было что-то призрачное, но сами они стали другими, они были уже не теми людьми, которые, тогда совершенно так же, как теперь, склонившись над смертельно больным ребенком, вместе не спали ночей и страдали.

Между тем и Альберт, подавленный тихим беспокойством и мучительной тревогой в доме, не мог заснуть. Среди ночи он, полуодетый, на кончиках пальцев



вошел в комнату Пьера и взволнованным шепотом спросил, не монет ли он что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь.

-- Спасибо,-- сказал Верагут,--но делать здесь нечего. Иди лучше спать и будь здоров хоть ты!

Но, когда Альберт ушел, он попросил жену:

-- Пойди немножко к нему и успокой его.

Она охотно сделала это, и то, что он подумал об этом, доставило ей удовольствие.

Только к утру она поддалась увещаниям мужа и легла в постель. На рассвете появилась сиделка и сменила его. В положении Пьера не произошло никаких перемен.

Верагут нерешительно пошел по парку, ему еще не хотелось спать. Но глаза у него горели, а кожа была сухая и дряблая. Он выкупался в озере и велел Роберту принести кофе. Затем он посмотрел в мастерской свой этюд. Он был написан свежо и легко, но и это в сущности было не то, чего он искал, а теперь с задуманной картиной и вообще с писанием в Росгальде было кончено.

## XVI.

Уже несколько дней в состоянии Пьера не происходило никаких перемен. Один или два раза в день у него бывали припадки судорог и болей, остальное время он лежал в полудремоте, с притупленным сознанием. Между тем жара разрешилась целым рядом гроз; стало прохладно, и в слабо струящемся дожде сад и мир утратили свой насыщенный летний блеск.

Верагут, наконец, снова провел ночь в своей постели и несколько часов спал глубоким сном. Лишь теперь, одеваясь у открытого окна, он заметил, как пасмурно и свежо стало на дворе,-- последние дни он жил точно в лихорадке. Он высунулся в окно и, слегка вздрагивая от холода, вдыхал сырой воздух туманного утра. Пахло влажной землей и близостью осени, и он, привыкший ощущать обостренными чувствами признаки времен года, с удивлением заметил, как бесследно, почти незаметно промелькнуло это лето. Ему казалось, что он провел в комнате больного Пьера не дни и ночи, а месяцы.

Он набросил непромокаемый плащ и пошел в дом. Здесь он узнал, что мальчик проснулся рано, но уже час, как заснул опять. Он позавтракал с Альбертом. Юноша принимал болезнь Пьера очень близко к сердцу и страдал, стараясь не дать этого заметить, от больничной атмосферы и тяжелого, угнетенного настроения в доме.

Когда Альберт ушел к себе, чтобы заняться своими школьными работами, Верагут вошел к еще спавшему Пьеру и занял свое место у кровати. В эти дни он не раз желал, чтобы все это кончилось скорее, уже ради ребенка, который давно не говорил ни слова и казался таким измученным и постаревшим, как будто знал сам, что ему нельзя помочь. Тем не менее, он не хотел упустить ни часу и ревниво оберегал свое место у постели больного. Ах, как часто когда-то приходил к нему маленький Пьер и заставлял его усталым или равнодушным, погруженным в работу или поглощенным заботами, как часто он рассеянно и безучастно держал в своей руке эту маленькую, худенькую ручку и едва слушал слова ребенка, из которых каждое теперь превратилось в не имеющую цены драгоценность! Всего этого нельзя было исправить. Но теперь, когда бедняжка лежит в мучениях и один со своим беззащитным, избалованным детским сердечком стоит лицом к лицу со смертью, теперь, когда ему в течение нескольких дней придется изведать все оцепенение, всю скорбь, весь страх и отчаяние, которыми пугают и давят человеческое сердце болезнь, слабость, старость и близость смерти,-- теперь он не оставит его ни на минуту. Он хотел этого, чтобы наказать себя, причинить себе

боль, и в то же время, чтобы не оказаться в отсутствии, если наступит момент, когда мальчик спросит о нем и он сможет оказать ему какую-нибудь маленькую услугу, выказать немного любви.

И в это утро он был вознагражден. В это утро Пьер открыл глаза, улыбнулся ему и сказал слабым, нежным голосом:

-- Папа!

Сердце художника бурно забилося, когда он, наконец, снова услышал любимый голос, звавший его и ставший таким жиденьким и слабым. Он так долго слышал этот голос только стонущим и невнятно лепечущим в тупом страдании, что испугался от радости

-- Пьер, дорогой мой!

Он нежно нагнулся и поцеловал улыбающиеся губы. Пьер казался свежее и счастливее, чем он надеялся когда-либо снова увидеть его, глаза у него были ясные и сознательные, глубокая морщина между бровями почти исчезла.

-- Радость моя, тебе лучше?

Мальчик улыбнулся и посмотрел на него как будто с удивлением. Отец протянул ему руку, и он вложил в нее свою ручку, которая никогда не была особенно сильной, а теперь казалась такой маленькой, белой и усталой.

-- Теперь ты должен сейчас же поесть, а потом я расскажу тебе что-нибудь интересное.

-- О, да, про цветы и про летних птиц, -- сказал Пьер, и отцу опять показалось чудом, что он говорит, улыбается и снова принадлежит ему.

Он принес ему завтрак. Пьер ел охотно и дал уговорить себя съесть второе яйцо. Затем он попросил свою любимую книгу. Отец осторожно раздвинул занавеси, в комнату проник бледный свет дождливого дня, и Пьер попробовал съесть и смотреть картинки. По-видимому, это не причиняло ему боли, он внимательно рассмотрел несколько листков и приветствовал любимые картины маленькими возгласами радости. Но затем сидячее положение утомило его, и глаза опять начали слегка болеть. Он дал себя уложить и попросил отца прочесть ему несколько песенок и стихов.

Верагут старался читать так весело и забавно, как только мог, и Пьер благодарно улыбался. Но все-таки стихи не произвели прежнего впечатления, как будто с тех пор, как Пьер слышал их в последний раз, он стал старше на несколько лет. Правда, стихи и картинки напомнили ему много светлых и радостных дней, но старая радость и задорное веселье не возвращались, и, не понимая этого, ребенок оглядывался на собственное детство, которое всего несколько недель, даже несколько дней тому назад было действительностью, с тоской и грустью взрослого человека. Он не был больше ребенком. Он был больным, от которого мир действительности уже отошел и ясновидящая душа которого уже везде и повсюду тревожно чуяла подстерегающую смерть.

Тем не менее, после всех ужасных страданий это утро было полно света и счастья. Пьер тихо и благодарно улыбался, а Верагут против воли все снова поддавался надежде. В конце концов, все-таки ведь возможно, что он не потеряет мальчика! И тогда он будет принадлежать ему, ему одному!

Пришел врач. Он долго пробыл у постели Пьера, не муча его вопросами и исследованиями. Лишь теперь появилась и фрау Адель, дежурившая ночью при ребенке. Неожиданное улучшение как будто ошеломило ее; она так крепко сжимала руки Пьера, что ему было больно, и не старалась скрывать слез радости, катившихся у нее из глаз. Альберту тоже позволили войти на несколько минут в комнату больного.

-- Это похоже на чудо, -- сказал Верагут доктору. -- Вы не находите?

Врач улыбнулся и ласково кивнул головой. Он не противоречил, но не выказывал и чрезмерной радости. Художником сейчас же опять овладело недоверие. Он наблюдал за каждым движением врача и заметил, что в то время, как лицо улыбалось, в глазах было холодное внимание и сдержанная тревога. Сквозь щелку двери он прислушивался к разговору врача с сиделкой, и, хотя не мог разобрать ни слова, серьезный шепот, казалось ему, говорил об опасности.

Он проводил врача до экипажа и в последнюю минуту спросил:

-- Вы не придаете большого значения этому улучшению?

Некрасивое, спокойное лицо обернулось к нему:

-- Будьте довольны, что бедняжке выпало на долю несколько хороших часов!

Будем надеяться, что это продержится подольше.

В его умных глазах нельзя было прочесть ничего, возбуждающего надежду.

Торопливо, чтобы не потерять ни мгновения, художник вернулся в комнату больного. Мать рассказывала ему сказку о спящей царевне; он сел рядом и смотрел, как на личике Пьера отражались все перипетии сказки.

-- Рассказать еще что-нибудь?-- спросила фрау Адель.

Мальчик посмотрел на нее большими, спокойными глазами.

-- Нет,-- немного устало сказал он.-- Потом.

Она пошла распорядиться по хозяйству, и отец взял ребенка за руку. Оба молчали, но время от времени Пьер со слабой улыбкой взглядывал на отца, точно радуясь, что он с ним.

-- Теперь тебе гораздо лучше?-- ласково сказал Верагут.

Пьер слегка покраснел, пальцы его, играя, зашевелились в руке отца.

-- Ты меня любишь, папа, правда?

-- Конечно, детка. Ты мой дорогой мальчик, и когда ты выздоровеешь, мы всегда будем вместе.

-- Да, папа... Я раз был в саду, и я был там совсем один, и никто не любил меня. Но вы должны любить меня и должны помочь мне, если мне опять будет больно. О, мне было так больно!

Он полузакрыв глаза и говорил так тихо, что Верагут должен был нагнуться к самым губам, чтобы разобрать его слова.

-- Вы должны мне помочь. Я буду вести себя хорошо всегда, всегда, вы не будете меня бранить! Правда, вы не будете меня никогда бранить? Скажи это Альберту тоже.

Его веки дрогнули и приподнялись, но взгляд был затуманенный, а зрачки неестественно расширены.

-- Спи, дитя, спи теперь! Ты устал. Спи, спи, спи!

Верагут осторожно закрыл ему глаза и стал тихонько напевать, как делал это иногда во времена младенчества Пьера. И мальчик как будто задремал.

Через час пришла сиделка сменить Верагута, которого ждали к столу. Он пошел в столовую молча, и рассеянно сел тарелку супа, почти не слыша, что говорилось вокруг. Испуганный и нежный шепот ребенка продолжал сладостно и печально раздаваться в его ушах. Ах, сколько сотен раз он мог так говорить с Пьером и ощущать наивное доверие его беспечной любви, и не делал этого!

Он машинально взял в руки графин, чтобы налить себе воды. В этот момент из комнаты Пьера донесся громкий, пронзительный крик, вырвавший Верагута из его грустной задумчивости. Все вскочили с побледневшими лицами, бутылка упала, покатилась по столу и со звоном скатилась на пол.

Одним прыжком Верагут очутился в комнате больного.

-- Пузырь со льдом! -- кричала сиделка.

Он ничего не слышал. Ничего, кроме ужасного, отчаянного крика, засевшего у него в сознании, как нож в ране. Он бросился к постели.

Пьер лежал белый, как полотно, с перекосившимся ртом, его исхудалые члены извивались в бешеных корчах, глаза были выпучены в животном ужасе. И вдруг он опять испустил крик, еще более дикий и пронзительный, весь изогнулся, так что постель задрожала, упал и опять изогнулся, то сгибаемый, то вытягиваемый болью, точно прут гневными юношескими руками.

Все стояли испуганные и беспомощные, пока приказания сиделки не водворили порядка. Верагут стоял на коленях перед кроватью и старался не дать Пьеру поранить себя во время судорог. Тем не менее, мальчик ушиб правую руку до крови о металлический край кровати. Затем он съежился, повернулся так, чтобы лечь на живот, молча зарылся в подушки и начал равномерно бить левой ногой, точно отбивая такт... Он поднимал ногу, со стуком опускал ее на кровать, минуту отдыхал и снова проделывал то же самое, быстро, десять, двадцать, бесконечное количество раз.

Женщины торопливо готовили компрессы, Альберта выслали из комнаты. Верагут все еще стоял на коленях и смотрел, как под одеялом с зловещей равномерностью поднималась, вытягивалась и опускалась нога. Это лежал его ребенок, улыбка которого всего час тому назад была, как солнечный луч, и молящий любовный лепет которого только что очаровал и взволновал его сердце до самой глубины. А теперь от него осталось только машинально подергивающееся тело, жалкий, беспомощный клубок боли и страдания.

-- Мы с тобой! -- в отчаянии восклицал он. -- Пьер, детка моя, мы здесь, мы поможем тебе!

Но от его уст уже не было больше пути к душе мальчика, и все его утешения и безумно-нежные слова не проникали в ужасное одиночество умирающего. Он был далеко отсюда, в другом мире, он в тоске бродил по адской долине смерти, и, может быть, в эту самую минуту он звал того, кто теперь на коленях стоял возле него и охотно перенес бы всякую муку, чтобы помочь своему ребенку.

Все понимали, что это конец. Со времени того первого, испугавшего их крика, который был так полон глубокого, животного страдания, на каждом пороге и в каждом окне дома стояла смерть. Никто не говорил о ней, но все узнали ее, не только родители, но и Альберт, и служанки внизу, и даже собака, беспокойно бегавшая под дождем взад и вперед по площадке и от времени до времени робко визжавшая. Все суетились и кипятили воду, клали лед и усердно хлопотали, но это уж не было борьбой, во всем этом не было надежды.

Пьер лежал без сознания. Он дрожал всем телом, как будто ему было холодно, иногда он слабо и потерянно вскрикивал, и все снова, после небольших, вызванных изнеможением перерывов, начинала отбивать такт его нога, точно приводимая в действие часовым механизмом.

Так прошел день, вечер и ночь, и, когда на рассвете маленький борец истощил свои силы и сдался врагу, измученные родители только безмолвно посмотрели через его постельку друг на друга. Верагут приложил руку к сердцу Пьера; оно не билось. И он не снимал руки со впалой груди ребенка, пока она не заоченела под его пальцами.

Тогда он мягко провел рукой по сложенным рукам фрау Адели и сказал шепотом: "Кончено". Поддерживая жену и прислушиваясь к ее хриплым рыданиям, он вывел ее из комнаты и передал сиделке, послушал у дверей Альберта спит ли он, вернулся к Пьеру и уложил его хорошенько. В это время он чувствовал, что половина его жизни умерла в нем и навеки успокоилась.

Спокойно сделал он все необходимое, наконец, передал мертвого сиделке и заснул коротким, глубоким сном. Когда яркий дневной свет заглянул в окно его спальни, он проснулся, сейчас же встал и приступил к последней работе, которую хотел еще сделать в Росгальде. Он пошел в комнату Пьера и отдернул все занавеси;

холодный осенний свет упал на маленькое белое лицо и неподвижные ручки его любимца. Тогда он сел у постели, разложил картон и в последний раз зарисовал черты, которые так часто изучал, которые знал и любил еще в крошечном малютке и с которых, наложив на них печать зрелости, смерть не могла снять выражения страдания и недоумения.

Солнечные лучи жарко пробивались между краями вялых, усталых от дождя туч, когда маленькая семья возвращалась с похорон Пьера. Фрау Адель прямо сидела в коляске, ее заплаканное лицо казалось странно светлым и неподвижным между черной шляпой и наглухо застегнутым черным траурным платьем. У Альберта были опухшие веки, он все время держал руку матери в своей.

-- Значит, вы завтра едете, -- ободряющим тоном сказал Верагут.-- Не беспокойтесь ни о чем, я сделаю все, что нужно. Не унывай, мой мальчик, настанут лучшие времена!

Они вышли из коляски. Мокрые ветви каштанов ярко сверкали на солнце. Слепленные, вошли они в тихий дом, где, перешептываясь, ждали служанки в траурных платьях. Комната Пьера была заперта.

Кофе был готов, и все трое сели за стол.

-- Я заказал в Монтрё комнаты для вас, -- опять начал Верагут. -- Смотрите, поправляйтесь там хорошенько! Я тоже уеду, как только справлюсь. Роберт останется здесь и будет смотреть за домом. Он будет знать мой адрес.

Никто не слушал его. Глубокое, унижительное равнодушие сковывало всех, точно мороз. Фрау Адель неподвижно смотрела перед собой и подбирала крошки со скатерти. Она замкнулась в свою скорбь и не хотела знать ничего на свете, и Альберт подражал ей. С тех пор как маленький Пьер лежал мертвый, видимость связи в семье опять исчезла, точно вежливое выражение с лица едва сдерживающегося человека после отъезда тягостного гостя. Один только Верагут, не считаясь с фактами, продолжал до последнего дня играть роль и не снимал маски. Он боялся, чтобы какая-нибудь женская сцена не расстроила его отъезда из Росгальды, и в глубине души он страстно ждал минуты, когда жена и сын уедут.

Никогда еще он не был так одинок, как вечером этого дня, сидя один в своей комнатке. Напротив, в господском доме, его жена упаковывала свои чемоданы. Он написал письма и устроил все дела, сообщил о своем скором приезде Буркгардту, еще ничего не знавшему о смерти Пьера, дал своему поверенному и банку последние инструкции и полномочия. Затем он убрал все с письменного стола и поставил перед собой посмертный портрет Пьера... Теперь Пьер лежал в земле, и было вопросом, сможет ли когда-нибудь Верагут снова так отдать свое сердце какому-нибудь человеческому существу, так страдать его муками. Он был теперь один.

Долго рассматривал он свой рисунок, одряблевшие щеки, закрытые ввалившиеся глаза, узкие сжатые губы, жестоко исхудавшие детские руки. Затем он запер портрет в мастерской, взял шляпу и вышел на воздух. В парке было темно и тихо. Напротив, в доме, светились несколько освещенных окон, до которых ему не было никакого дела. Но под черными каштанами, в маленькой, мокрой от дождя беседке, на песчаной площадке и в цветочном саду еще как будто веяло жизнью и воспоминаниями. Здесь когда-то -- не было ли это много лет тому назад? -- Пьер показал ему маленькую пойманную мышь, а там, у флоксий, он разговаривал с роем голубых мотыльков, а для цветов он придумывал фантастически-нежные имена. Везде здесь, во дворе, у курятника и собачьей конуры, на дерновой площадке и в липовой аллее он вел свою маленькую жизнь, затевал свои игры, здесь его легкий, свободный детский смех и вся прелесть его своевольной, самостоятельной особы были у себя дома. Здесь он сотни раз, никем не наблюдаемый, наслаждался своими детскими радостями и переживал свои сказки;

здесь он, может быть, иногда сердился или плакал, чувствуя себя заброшенным или непонятым.

Верагут долго бродил в темноте, заглядывая в каждое местечко, сохранившее воспоминание о его мальчике. Наконец, он опустился на колени у песочной горы Пьера и погрузил руки в сырой песок. Под пальцами он почувствовал какой-то деревянный предмет и, вытащив его, увидел лопатку Пьера.

Тогда он припал лицом к груде песка и в первый раз за эти три ужасных дня дал волю слезам.

Утром у него был еще разговор с Аделью.

-- Постарайся утешиться, -- сказал он ей, -- и не забывай, что ведь Пьер принадлежал мне. Ты уступила его мне, я еще раз благодарю тебя за это. Я уже тогда знал, что он умрет, но это было великодушно с твоей стороны. А теперь живи так, как тебе нравится, и не принимай слишком поспешных решений! Оставь пока Росгальду за собой, ты будешь раскаиваться, если продашь ее слишком скоро. Нотариус тоже такого мнения, он думает, что земля здесь скоро поднимется в цене. Желаю тебе удачи в этом! Моего здесь ничего нет, кроме вещей в мастерской, за которыми я потом пришло.

-- Благодарю тебя... А ты? Ты не вернешься сюда больше никогда?

-- Никогда. Это не имеет смысла. И я хотел тебе еще сказать: во мне нет больше никакой горечи. Я знаю, я сам был во всем виноват.

-- Не говори этого! Ты хочешь мне добра, но меня это только мучит. Теперь ты остаешься совсем один! Да, если бы ты мог взять с собой Пьера... Но так... нет, так не должно было кончиться! Я тоже была виновата, я знаю...

-- Это мы искупили в те дни. Успокойся, все хорошо, право, жаловаться не на что. Смотри, теперь Альберт принадлежит исключительно тебе. А у меня есть моя работа. С этим можно перенести все. И ты будешь счастливее, чем была все эти годы.

Он был так спокоен, что она тоже пересилила себя. Ах, ей хотелось бы сказать ему еще так много, за многое поблагодарить его, во многом обвинить. Но она видела, что он прав. Для него все то, что для нее еще было горьким, полным жизни настоящим, видимо, превратилось уже в бесплотное прошедшее. Ей оставалось только молчать и не ворошить старого. И она терпеливо и внимательно слушала его наставления и удивлялась, как он обо всем подумал и ничего не упустил из виду.

О разводе не было произнесено ни слова. Это можно устроить когда-нибудь впоследствии, когда он вернется из Индии.

После обеда они поехали на станцию, где уже ждал Роберт с чемоданами. В шуме и копоты большого вокзала Верагут усадил обоих в вагон, купил газеты и журналы для Альберта и передал ему багажную квитанцию. Он стоял у окна до самого отхода поезда и махал шляпой и смотрел ему вслед, пока Альберт не отошел от окна.

На обратном пути Роберт сообщил ему, что порвал свою необдуманную помолвку. Дома уже ждал столяр, который должен был сделать ящики для его последних картин. Когда они будут уложены и отосланы, ничто больше не будет его задерживать. Ему страстно хотелось уехать.

## XVII.

Наконец, и столяр был отпущен. Роберт работал в господском доме с единственной остававшейся еще служанкой, они надевали чехлы на мебель и запирали окна и ставни.

Верагут медленно прошел через свою мастерскую, через спальню и гостиную, затем вышел, обошел пруд и пошел по парку. Так он ходил здесь сотни раз, но сегодня все, -- дом и сад, озеро и парк, -- казалось ему, кричали об одиночестве. В уже желтеющей листве дул холодный ветер и нагонял низко нависшие полчища новых пушистых дождевых туч. Художник зябко вздрогнул. Теперь вокруг него не было никого, о ком ему надо было бы заботиться, с кем надо было бы считаться, перед кем казаться спокойным, и теперь только, в этом ледяном одиночестве, он почувствовал тревогу и бессонные ночи, лихорадочный трепет и всю надрывающую усталость этого последнего времени. Он чувствовал ее не только в голове и в членах, еще глубже он ощущал ее в душе. Там погасли последние игристые огоньки молодости и ожидания; но холод одиночества и беспощадная трезвость, которые он находил в ней, не пугали его.

Бродя по мокрым дорожкам, он неумоимо старался проследить нити своей жизни, простая ткань которой никогда не лежала так ясно перед его глазами. И он без всякой горечи пришел к заключению, что прошел все эти пути в слепоте. Он ясно видел, что, несмотря на все попытки и на никогда не угасавшую вполне тоску, он прошел мимо сада жизни. Никогда в жизни не изведаль он, не вкусил до конца любви, никогда до этих последних дней. У постели своего умирающего ребенка он, слишком поздно, пережил свою единственную истинную любовь, в которой он впервые забыл, преодолел себя самого. Это останется навсегда великим событием его жизни и его маленьким сокровищем.

Теперь у него оставалось только его искусство, в котором он никогда не чувствовал себя таким уверенным, как теперь. Ему оставалось утешение вне жизни стоящих, которым не дано самим завладеть ею и испить ее чашу до дна; ему оставалась странная, холодная и тем не менее неукротимая страсть наблюдения и втайне гордого творчества. Это ненарушимое одиночество и холодное наслаждение творческой работы -- вот что оставалось ему от его неудачной жизни и что составляло ее ценность, и следовать без уклонений этой звезде было его судьбою.

Он глубоко вдыхал влажный, горько пахнущий воздух парка, и при каждом шаге ему казалось, что он отталкивает от себя прошлое, точно ставшую ненужной лодку от берега. В его испытании и познании не было и тени смирения: полный упорства и страстной предприимчивости, смотрел он навстречу новой жизни, которая рисовалась ему не блужданием во тьме, ощупью, как до сих пор, а смелым, крутым подъемом в гору. Позже и, может быть, тяжелее, чем другие мужчины, простился он со сладкими сумерками юности. Теперь он, запоздалый и нищий, стоял один в ярком свете дня, и из этого дня он не хотел потерять ни одного драгоценного часа.

---

*Источник текста: журнал "Русская мысль", 1914, NoNo 1--3.*